

Эти опавшие листья

Автор:

[Олдос Хаксли](#)

Эти опавшие листья

Олдос Леонард Хаксли

Эксклюзивная классика (АСТ)

Роман Олдоса Хаксли «Эти опавшие листья» (названием для которого послужила строка из классического стихотворения Вордсворта) стилистически продолжает цикл книг этого выдающегося писателя о «потерянном поколении» британских интеллектуалов. Богатая вдова-меценатка пытается возродить на итальянской вилле традицию легендарных артистических салонов эпохи Возрождения – однако ни поэт, вынужденный подрабатывать редактором бульварной газетенки, ни бойкая писательница, крутящая роман с остроумным щеголем, ни тем более стареющий философ, под шумок охотящийся за приданным дурочки-наследницы, очевидно не способны претендовать на новых Боккаччо и новых да Винчи. Однако Хаксли не был бы самим собой, если бы этот легкомысленный, в общем, сюжет не превратился под его пером в блистательное произведение искусства – произведение умное и тонкое, в котором язвительная сатира сочетается с глубокой философией.

Олдос Хаксли

Эти опавшие листья

Роман

Aldous Huxley

Those barren leaves

© Aldous Huxley, 1925

© Перевод. И. Моничев, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

Часть I

Вечер у миссис Олдуинкл

Глава I

Маленький городок Вецца расположен у слияния двух потоков, которые спускаются к нему с двух глубоких лощин с Апуанских Альп. Бурные потоки, еще не забыв о своем горном происхождении, сходятся в речку, несущуюся через весь город. Тишину в Вецце нарушает непрестанный шум бегущей воды. Но затем постепенно небольшая река меняет свой нрав; долина расширяется, возвышенности остаются позади, и она становится плавной и ровной, как канал в Голландии, тихо скользит между прибрежных лугов и впадает в не знающее приливов и отливов Средиземное море.

Над самой же Веццей возвышается мощный и крутой холм, торчащий словно клин, вбитый между двумя лощинами. А почти у самого гребня холма посреди рощи падубов и изящных кипарисов, темнеющих пирамидами среди зарослей дымчатых олив, стоит огромный особняк. Величественный фасад шириной в двадцать окон смотрит сверху вниз на городок сквозь террасы кипарисов и оливковых деревьев. Позади и дальше этого фасада можно разглядеть разнообразные строения, лепящиеся еще выше по склонам холма. И господствующее положение здесь занимает высокая, но стройная башня,

вершину которой на итальянский манер венчает квадрат навесных бойниц. Вместе этот комплекс сооружений составляет бывший летний дворец семьи Чибо-Маласпина, в прежние времена князей Массы и Каррары, герцогов Веццанских, а также маркизов, графов и баронов всех селений и деревень.

Крутая дорожка ведет из Веццы к дворцу Чибо-Маласпина, взгромоздившемуся над городом. Итальянское солнце может палить немилосердно даже в сентябре, а оливы дают слишком мало тени, чтобы в ней укрыться. Молодой человек в фуражке с кожаной сумкой через плечо медленно и устало продвигался вверх на велосипеде. Он часто делал остановки, вытирал пот с лица и тяжело вздыхал. Будь проклят тот день, думал он, черный-пречерный день для почтальонов из Веццы, когда эта полоумная старая англичанка с непроизносимой фамилией купила особняк; но еще более мрачные дни наступили, когда ей вздумалось приехать и поселиться в нем. В былые годы место почти пустовало. Пара крестьянских семей обосновались во вспомогательных постройках. В лучшем случае на обе приходилось одно письмо в месяц, а что до телеграмм – сказать по правде, молодой человек и не помнил ни одной, которую бы прислали туда. Но счастливая пора осталась в прошлом, и теперь что с письмами, что с пачками газет и бандеролями, что с телеграммами и «молниями» не было дня, когда кому-то с почты не приходилось одолевать жуткий подъем к треклятому особняку.

Верно, продолжал свои размышления молодой человек, ты получаешь неплохие чаевые за доставку телеграммы или срочного письма. Однако, будучи мужчиной здравомыслящим, если возникал выбор между покоем и деньгами, он всегда предпочитал ничего не делать. Расход потраченной энергии невозможно компенсировать тремя франками, которые он получит в конце восхождения. Деньги не дают удовлетворения, если тебе приходится зарабатывать их тяжким трудом. У того, кто зарабатывает, не остается времени тратить.

Идеальным случаем, отметил он, поправляя фуражку, было бы сорвать большой приз лотереи. Получить действительно крупный выигрыш.

Он вынул из кармана тощенькую газетенку, которую нынче утром всучил ему нищий в обмен на подаяние в пару сольди. Она состояла из рифмованных пророчеств удачи для покупателя газеты. И какой удачи! Нищенская газетка была щедрой на посулы. Он женится на даме своего сердца, заведет двоих детишек, станет одним из самых процветающих торговцев в городе и доживет до восьмидесяти трех лет. В подобные предсказания он не верил. Только самый

последний стишок – причем он сам не сумел бы объяснить почему – показался ему достойным серьезного отношения. В финальном четверостишии заключался конкретный и нужный совет.

Мы подскажем вам цифры заветные,

И взамен ничего не попросим.

Победят в «Лотто» семь и шестнадцать.

И в придачу к ним – пятьдесят восемь.

Он перечитал эти вирши несколько раз, запомнив наизусть, затем сложил газету и снова убрал в карман. Семь, шестнадцать и пятьдесят восемь – в этих числах ему поистине виделось нечто притягательное.

Победят в «Лотто» семь и шестнадцать.

И в придачу к ним – пятьдесят восемь.

Он принял твердое решение последовать совету газетного оракула. Это было талисманом, улыбкой слепой удачи: но с тремя номерами ошибиться и не выиграть невозможно. Почтальон задумался, как поступит с выигрышем. Но только успел выбрать марку машины, которую купит, – новая «Лянчия 14-40» элегантнее «фиата» и намного дешевле (а он сохранял здравый смысл и привычку экономить, даже объятый мечтами о несметном богатстве), чем «изотта-фраскини» или «наццаро», – когда оказался у подножия ступеней, тянувшихся к дверям дворца. Прислонив велосипед к стене и глубоко вздохнув, позвонил в колокольчик. На сей раз дворецкий дал ему два франка вместо обычных трех. Что ж, такова жизнь, решил он, скатываясь вниз через рошу серебристых олив в сторону долины.

Телеграмма была адресована миссис Олдуинкл, но в отсутствие хозяйки дома, которая уехала с другими гостями в Марина-ди-Вецца, чтобы провести день на пляже, дворецкий вручил послание мисс Триплау.

Мисс Триплау сидела в маленькой и темной готической комнате, расположенной в самой древней части дворца, и на пишущей машинке «Корона» трудилась над композицией четырнадцатой главы своего нового романа. Она была в платье из набивного хлопка в крупную синюю клетку на белом фоне, что немного

напоминало шотландку, очень высокое в талии, но просторное и длинное внизу. Платье немного старомодное и все-таки новое, похожее на наряд школьницы, но смелое. В таком не стыдно появиться и в Челси. Лицо, повернутое в сторону вошедшего в комнату дворецкого, отличалось нежностью кожи, бледностью и округлостью формы – при столь гладком и круглом личике ей никто бы не дал ее тридцати лет. Черты лица мелкие и правильные, темно-карие глаза, изогнутые брови над ними выглядели так, словно их нанесли восточной кистью на фарфоровую маску. Почти черные волосы она гладко зачесывала со лба назад, собирая в пышный пучок на затылке. Уши тоже были белые и очень маленькие. В целом лицо казалось не слишком выразительным, как лицо куклы, но при этом весьма интеллигентной куклы.

Она взяла телеграмму и вскрыла ее.

– Это от мистера Кэлами, – объяснила она дворецкому. – Он сообщает, что прибудет поездом в три двадцать и поднимется сюда пешком. Вам следует подготовить комнату для него.

Дворецкий удалился. Вместо того чтобы вернуться к своей работе, мисс Триплау откинулась в кресле и прикурила сигарету.

В четыре часа после сиесты мисс Триплау спустилась вниз уже не в сине-белом утреннем платье, а в своем лучшем послеполуденном одеянии – платье из черного шелка, отороченном белыми кантами по оборкам. Ее жемчуга на темном фоне смотрелись особенно выигранно. Жемчужные серьги украшали и ее бледные маленькие уши; пальцы обильно покрывали кольца. После всего того, что она слышала о Кэлами от хозяйки дома, подобные приготовления показались ей необходимыми, и оставалось лишь радоваться, что его неожиданный приезд даст возможность познакомиться с ним наедине. Одной ей будет проще произвести на него то правильное и благоприятное первое впечатление, которое всегда важно.

Помня слова миссис Олдуинкл, мисс Триплау тешила себя иллюзией, что она хорошо представляет подобный сорт мужчин. Богатый, красивый, а уж какой ловелас! Миссис Олдуинкл, разумеется, охотно, подробно и даже с восхищением остановилась именно на данной черте его характера. Многие известные красавицы охотились на него; он был всегда желанным гостем в лучших домах, где принимали только избранных. Но его нельзя отнести к категории столь распространенных легкомысленных светских мотыльков, настаивала миссис

Олдуинкл. Напротив, он был интеллектуалом, человеком глубоко серьезным, интересовавшимся искусством. Более того, на пике своего успеха покинул Лондон и отправился странствовать по свету, чтобы еще больше обогатить свой ум. Да, Кэлами был, видимо, мужчиной исключительно серьезным. Но все же мисс Триплау отнеслась к ее словам не без скептицизма. Она знала о слабости миссис Олдуинкл к знаменитостям, о ее стремлении сойтись на короткой ноге с великими, что породило привычку за неимением рядом с собой действительно выдающихся личностей возводить в этот ранг порой своих самых заурядных знакомых. Убавив процентов семьдесят пять из восхвалений миссис Олдуинкл, она вообразила Кэлами как одного из носителей природного дара, озаренного свыше. Трепетное благоговение перед таинствами искусства заставляет таких аристократов-самоучек посещать салоны, где собираются лучшие умы современности, приглашать поэтов поужинать с ними в самых дорогих ресторанах, покупать полотна кубистов, а подчас подвигает даже на то, чтобы втайне писать самим стихи или заниматься живописью. Да, думала мисс Триплау, подобный тип людей ей хорошо знаком. Вот почему она тщательно приготовилась, облачилась в это платье, шедевр из черного шелка, нацепила жемчуга и кольца; и с той же целью одновременно напустила на себя дерзкие манеры, свойственные блестящим, загадочным, высокородным молодым женщинам, среди которых, если верить миссис Олдуинкл, он и добился своих самых выдающихся амурных триумфов. Мисс Триплау не хотела быть обязанной своему успеху у этого молодого человека тому факту, что она была писательницей с прекрасной репутацией. Поскольку мисс Триплау отнесла его к носителям природного дара, питающего нежданную слабость к творцам, ей хотелось предстать перед ним такой же носительницей природного дара, случайно наделенной талантом писать нечто популярное в силу лишь прихоти. Ей не терпелось показать Кэлами, что она полностью соответствует привычному для него светскому уровню, хотя когда-то была очень бедна и даже опустилась до работы гувернанткой. Хорошо зная хозяйку дома, мисс Триплау не сомневалась, что миссис Олдуинкл непременно поделилась с ним этой информацией. Она встретится с ним на равных. А уже потом, когда он оценит ее природный дар, они перейдут непосредственно к ее творчеству, и он сможет лишь восхититься, что она великолепный литературный стилист, а не просто умная молодая женщина, на законных основаниях принадлежащая к его кругу.

Первый же взгляд на него убедил ее, что она поступила правильно, надев на себя все драгоценности и придав смелости своим манерам. Потому что дворецкий ввел в гостиную одного из тех молодых людей, которые на обложках иллюстрированных журналов сливались в поцелуе алых губ с холеными молодыми красавицами. Впрочем, нет, такой вывод был не совсем справедлив.

Мистер Кэлами выглядел не таким уж привлекательным и, если уж на то пошло, глуповатым. Он скорее казался одним из тех чертовски приятных, хорошо воспитанных, но плохо образованных молодых созданий, общение с которыми иногда освежает после чрезмерно долгого времени, проведенного в обществе высоколобых. Русоволосый, голубоглазый, высокий, с намеком на военную выправку. Пугающе аристократичный и обладающий всеми приметам той прославленной уверенности в себе, какую порождает происхождение из богатой семьи, обеспеченное будущее и привилегированное положение в обществе. Возможно, чуть излишне наглый в осознании своей внешней привлекательности и от избалованности прежними любовными победами. Но даже в высокомерии ощущалась лень; жареные перепелки сами попадали ему в рот; с его стороны не требовалось никаких усилий. Его веки постоянно смыкались, словно от сонной скуки баловня судьбы. Мисс Триплау поняла о нем все с первого взгляда.

Он стоял перед ней, глядя сверху вниз на ее лицо, улыбался, и хотя брови вопросительно взлетели вверх, в этом не было ни тени смущения. Мисс Триплау ответила ему столь же небрежным взглядом. Она умела изображать высокомерие, когда ей хотелось.

- Вы - мистер Кэлами, - произнесла она после паузы.

Он ответил легким наклоном головы.

- А меня зовут Мэри Триплау. Все остальные уехали. Так что мне придется развлекать вас самой.

Он кивнул и дотронулся до ее протянутой руки.

- Наслышан о вас от Лилиан Олдуинкл.

«И о том, как я работала гувернанткой?» - мелькнула мысль у мисс Триплау.

- И от многих других людей, - продолжил мистер Кэлами. - Не говоря уже о ваших книгах.

- Давайте не будем о них, - нарочито легко отмахнулась она от темы. - Прежние книги теряют всякое значение - они не так уж важны, потому что написаны кем-

то, кого уже не существует. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Единственная книга, какую можно принимать в расчет, та, что сочиняется сейчас. А к тому времени, когда она будет опубликована и ее начнут читать чужие люди, она тоже потеряет значение. А потому для меня не существует моих книг, которые мне было бы приятно обсуждать. – Мисс Триплау говорила томно, немного растягивая каждое слово и глядя на Кэлами прищурившись. – Лучше побеседуем о чем-нибудь более интересном, – закончила она.

– О погоде?

– Почему бы и нет?

– Что ж, между прочим, это тема, – сказал Кэлами, – о которой я в данный момент могу говорить с подлинным интересом. Если хотите, с огромной теплотой. – Он вынул пестрый шелковый носовой платок и протер лицо. – Через такой ад, как эти пыльные равнинные дороги, мне не доводилось ходить никогда. Признаюсь, под невыносимым итальянским зноем я начинаю тосковать по лондонской сырости, по солнцезащитному зонтику из смога, по дымке, из-за которой не видно угла дома в ста ярдах от тебя, и по той своего рода москитной сетке в воздухе, скрывающей любой городской пейзаж.

– Помню, однажды я познакомилась с одним сицилийским поэтом, – произнесла мисс Триплау, придумав никогда не существовавшего потомка Феокрита, – который говорил то же самое. Только ему больше нравился Манчестер! – Она закатила глаза и свела ладони вместе с легким хлопком. – Он был одним из тех существ, каких часто можно встретить в зверинце леди Трунион.

Ей вовремя вспомнилось одно из имен, которые хорошо упомянуть как бы невзначай. Леди Трунион прославилась тем, что собирала у себя салон, где носители и носительницы природного дара имели возможность повстречать разнообразных забавных и экзотичных представителей мира искусства. А употребив слово «зверинец», мисс Триплау как бы сразу поставила их с Кэлами в общий ряд, по одну сторону разделительного барьера.

Однако эффект, который произвела на Кэлами эта почти культовая фамилия, оказался иным.

– Эта жуткая женщина все еще продолжает свои манипуляции? – спросил он. – Должен вам напомнить, что я путешествовал целый год и немного отстал от хроники событий.

Мисс Триплау мгновенно изменила выражение лица, как и тональность голоса. Улыбаясь с презрением посвященной, она заметила:

– Но ведь она ничто в сравнении с леди Гиблет, верно? Чтобы посмотреть на настоящий ужас, нужно побывать у нее. Вот ее дом – воистину mauvais lieu[1 – Злачное место (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.]. – Она сделала выразительный жест рукой, показывая, что знает, о чем говорит.

Кэлами не согласился с ее оценкой.

– У Гиблет, вероятно, все просто вульгарнее, но не хуже, – произнес он, и по его интонации и мимике мисс Триплау поняла, что он не кривит душой и не может по секрету получать удовольствие от подобной «светской жизни». – После более чем годичного отсутствия, подобного моему, возвращаясь к цивилизации только для того, чтобы обнаружить тех же людей, занятых тем же идиотизмом, как и прежде. Поразительно! Ведь ожидаешь перемен. Очевидно, потому что изменился ты сам. Но у всех все по-прежнему. У этих Гиблет, Трунион и даже у нашей хозяйки, хотя я искренне люблю бедную милую Лилиан. Ни малейших изменений. О, это более чем поразительно – такое порой даже пугает.

И именно в этот момент их беседы мисс Триплау сообразила, что допустила чудовищную ошибку и на всех парусах неслась неверным курсом. Мгновение, и она озвучила бы суждение, какое сделало бы ошибку непоправимой, превратила бы в то, что она еще с беззаботных студенческих времен стала называть «скелетом в шкафу» или воспоминанием, которое в будущем не вызывает ничего, кроме стыда. А мисс Триплау очень переживала из-за своих «скелетов в шкафу». Воспоминания непостижимым образом занозами застревали глубоко в душе, наносили раны, которые не заживали. Даже затянувшиеся старые шрамы иногда саднили. Внезапно, без всякого повода, посреди ночи или самой веселой вечеринки, она вдруг могла вспомнить о «скелете» из прошлого, и ее охватывало желание вновь и вновь казнить себя, овладевал мучительный стыд за свой поступок. И против этого не существовало лекарства, не помогали никакие умственные рассуждения. Конечно, в своем воображении ты можешь ретроспективно найти выход из положения, тактичную альтернативу, которая не привела бы к появлению «скелета». Вообразить, например, как шепчешь сестре

Фанни слова утешения, а не произносишь злобные, убивающие ее фразы. Или как ты с чувством возмущенного собственного достоинства уходишь из мастерской Бардолфа и попадаешь в грязный переулок, где в окне висит канарейка (какой изысканный образ – канарейка повесилась!), и удаляешься прочь. А на самом деле ты там задержалась и совершила невероятную глупость. Боже, как же скверно было потом на сердце! В общем, воображать можно было что угодно, делать вид, будто никакого «скелета в шкафу» не существовало. Фантазия отчаянно стремилась стереть из памяти навязчивый образ, но только ей никогда не удавалось одержать окончательной и решительной победы над фактами.

Вот и сейчас еще одно неосторожное слово – и в памяти отложился бы новый, неистребимый, болезненный «скелет». «Как могла я быть настолько тупа? – спрашивала она себя. – Как же я могла?» Потому что ей стало вдруг очевидно, что развязные манеры и модные наряды совершенно не подходили для такого случая. Кэлами, как выяснилось, не ценил ничего подобного. Стоило ей продолжить в том же духе, и он бы списал ее в разряд фривольных светских вертихвосток со склонностью к снобизму. Потребовались бы невероятные усилия и немалый срок, чтобы исправить это самое первое и сильное впечатление.

Неуловимым движением мисс Триплау сдернула с мизинца правой руки кольцо с опалом, подержала его в кулачке, переложила в левую руку, а потом, когда Кэлами отвернулся, запихнула в щель между сиденьем и спинкой обитого лощеной тканью кресла.

– Страх! – воскликнула она. – Да, вот верное определение. Все это действительно повергает в ужас. Чего стоят только великаны-лакеи! – Мисс Триплау вытянула руку над головой. – А какого диаметра там подают клубнику! – Она развела ладони рук (с пальцами, на которых сверкало все еще слишком много колец, как с огорчением отметила она) на фут перед собой. – Бессмысленное любопытство охотников на львов. А рык самих пресловутых львов!

Сейчас ей нечего было изображать руками, и мисс Триплау уронила их между бедер, воспользовавшись заодно случаем избавиться от кольца в виде скарабея и от бриллиантов. И, подобно фокуснику, который отвлекает внимание зрителей, чтобы успеть проделать свой трюк, она резко склонилась вперед и начала говорить быстро и очень искренне:

– А если серьезно, то какую же чепуху рычат их так называемые львы. Наверное, это наивно с моей стороны, но я всегда предполагала, что знаменитости обязаны быть интереснее других людей. Но вовсе не так!

И она несколько театральным движением облокотилась на спинку кресла. При этом одна рука как бы ненароком оказалась прижатой у нее за спиной. Вскоре мисс Триплау высвободила ее, но не раньше, чем скарабей и бриллианты нашли себе убежище в той же щели. Теперь на пальцах не осталось ничего, кроме изумруда; от него избавляться не нужно. Кольцо выглядело скромно и неброско. Но вот снять с себя жемчуга, чтобы он этого не заметил, она никак не могла. Ну никак – хотя в том, что касалось женских побрякушек, большинство мужчин были невероятно ненаблюдательны. Поэтому снять кольца не составило труда, но вот ожерелье... И самое обидное, что жемчуг не был даже по-настоящему ценным.

А Кэлами залился смехом:

– Вспомнил, как сам когда-то сделал такое открытие, – сказал он. – Поначалу воспринимаешь это довольно болезненно. Ощущение такое, словно тебя одурачили и обвели вокруг пальца. Приходят на ум слова Бетховена, что «он редко обнаруживал в игре самых знаменитых виртуозов то совершенство, какого вправе был бы ожидать». Мы тоже имеем право ожидать, чтобы прославленные люди соответствовали своим репутациям; с нашей точки зрения, им положено быть интересными.

Мисс Триплау склонилась вперед, кивком подтверждая, что эти чувства ей знакомы, с почти детской готовностью.

– Я знакома с множеством неизвестных людей, которые намного более интересны, более подлинны, чем знаменитости, что замечаешь почти поневоле. Ведь важна именно подлинность, не так ли?

Кэлами с ней согласился.

– Думаю, очень трудно оставаться самим собой, – продолжила мисс Триплау, – если ты человек известный и находишься в центре публичного внимания. – Она перешла на доверительный тон. – Я всегда пугаюсь, когда вижу свою фамилию в газетах, фотографы просят им позировать, а незнакомые люди приглашают

отужинать с ними. Мне страшно утратить свой покров неизвестности. Ведь все истинно неподдельное произрастает в тени. Взять хотя бы тот же сельдерей.

Какой незначительной и никому не известной была она сейчас! Какой бедной, но честной, как принято выражаться. А все эти ревущие львы из салона леди Трунион, скучные охотницы за чужой славой... У них не было никакой надежды проскользнуть в угольное ушко.

– Рад слышать это от вас, – произнес Кэлами. – Жаль, не все писатели разделяют подобный образ мыслей!

Мисс Триплау покачала головой, скромно отвергая скрытый в его реплике комплимент.

– Я стараюсь уподобляться в этом смысле Иегове, – заявила она. – Я – это только то, что я есть. Зачем мне изображать кого-то другого? Хотя должна признаться, – добавила она с отважной прямоотой, – что ваша репутация внушила мне робость, и захотелось предстать перед вами более светской, чем на самом деле. Я представляла вас умудренным опытом и циничным. Огромное облегчение обнаружить, что вы иной.

– Циничным? – повторил Кэлами, скорчив гримасу.

– По рассказам миссис Олдуинкл, вы рисовались эдаким ошеломляющим представителем высшего общества.

Кэлами расхохотался:

– Возможно, прежде я и принадлежал к подобным недоумкам. Но сейчас... Хотелось бы надеяться, что с этим покончено.

– Я воображала вас, – продолжила мисс Триплау, – одним из тех людей, чьи снимки появляются в «Скетче» – «на прогулке в парке с другом», – вы ведь понимаете, о чем я? – причем другом неизменно оказывалась какая-нибудь герцогиня или известнейший писатель. Удивительно ли, что я нервничала?

Она снова откинулась в кресле. Бедная маленькая девочка! Хотя чертов жемчуг, пусть всего лишь речной, все еще заставлял ее испытывать неловкость.

Глава II

Миссис Олдуинкл застала их на верхней террасе, любовавшимися живописным видом. Приближался час заката. Город Вецца уже поглотила тень от огромного холма, которая затем протянулась вдоль западных стен обеих лощин и почти до самой долины. Но зато чуть дальше долину все еще ярко освещало солнце. И она простиралась внизу, похожая на карту самой себя – дороги помечены белым, сосновые боры темно-зелеными пятнами, водные потоки серебряными нитями, распаханые поля и заливные луга обозначались клеточками изумрудных и коричневых тонов, а параллельно всему этому по линейке была прочерчена серо-коричневая линия железной дороги. За самой дальней кромкой сосен и песка темнела непрозрачная синева моря. К этой панорамной картине, обрамленной по сторонам холмами, розовато подсвеченными с восточной стороны и погруженными почти в полный мрак с западной, вела широкая каменная лестница, спускавшаяся мимо нижней террасы и колоннады кипарисов к величественным, украшенным скульптурами воротам, располагавшимся посреди склона горы.

Там они и стояли в молчании, облокотившись о балюстраду. С того момента, когда она вовремя стряхнула с себя образ носительницы дара, думала мисс Триплау, они стали превосходно, почти идеально ладить между собой. Она теперь замечала, что Кэлами нравится в ней сочетание наивной моралистки с духовной искушенностью, ума – с прямодушием. И с чего ей только вздумалось кривляться, изображая нечто иное, нежели натуру простую и естественную? В конце концов такой она и была в действительности или, если уж начистоту, решила, что должна отныне быть именно такой.

С подъездного двора у западного угла дворца донеслось кряканье автомобильного рожка и звуки голосов.

– Вот они и приехали, – сказала мисс Триплау.

– По мне так лучше бы и не приезжали, – отозвался он со вздохом, выпрямился и повернулся, стоя теперь лицом к дому. – Словно огромный камень швырнули в спокойную гладь пруда – я имею в виду весь этот шум.

Мысленно занеся себя в каталог прелестей царившего только что тихого вечера, мисс Триплау восприняла ремарку как очередной комплимент в свой адрес.

– Как часто приходится мириться с разбитым хрусталем покоя и умиротворения тому, кто по-настоящему чувствителен к подобным вещам, – обронила она.

Через анфиладу огромных и гулких залов дворца можно было слышать приближавшийся к ним голос:

– Кэлами! Кэлами!

Причем каждый слог фамилии произносился на другой ноте: первый на более низкой, следующий на высокой, хотя не в музыкальной последовательности, а как череда неуверенных и даже не связанных между собой восклицаний.

– Кэлами!

Это звучало настолько немелодично, словно у человека имелись проблемы с артикуляцией. Затем раздались быстрые шаги и шелест колец раздвигаемой драпировки. В просторном до помпезности проеме двери, от которой брала начало лестница к террасам, возникла фигура миссис Олдуинкл.

– Вот вы где! – воскликнула она.

Кэлами двинулся ей навстречу. Миссис Олдуинкл принадлежала к числу крупных, привлекательных, словно сошедших с полотен старых мастеров живописи женщин, которые кажутся сложенными из отдельных частей тел двух разных людей – они обладают широкими плечами и пышными формами Юноны, но между этими необъятными по размаху плечами обнаруживается неожиданно стройная шея и маленькая, аккуратная, почти девичья головка. Они выглядят наилучшим образом между двадцатью восемью и тридцатью пятью годами, пока тело находится в полном расцвете, а шея и слишком маленькая головка с не испорченными возрастом чертами все еще сходят за признаки молодости. Их

красота подчас даже более поразительна и сильнее манит к себе в силу того, что прелюбопытным образом составлена из столь несхожих компонентов.

- В тридцать три, - рассказывал о ней мистер Кардан, - Лилиан Олдуинкл была способна соблазнить любого мужчину, втайне склонного к полигамии. Она оставалась восемнадцатилетней в верхней части своего фасада, напоминая овдовевшую Дидону[2 - В римской мифологии: царица, основательница Карфагена.] во всем, что располагалось ближе к полу. Создавалось впечатление, будто ты находишься в обществе двух разных женщин одновременно. Это действовало очень возбуждающе.

Но, увы, смаковал он это сугубо в прошедшем времени, потому что миссис Олдуинкл было уже не тридцать три года, причем давным-давно. С тех пор минуло не двенадцать и даже не пятнадцать лет. Юноновские телеса сохранились во всем величии, не перейдя в чрезмерный излишек веса. Верно было и то, что сзади ее головка все еще могла показаться детской, но посаженной на слишком широкие плечи. Но вот лицо, бывшее некогда самым юным компонентом этого плотского содружества, опередило тело в гонке со временем, сильно износилось и казалось даже старше, чем на самом деле. Теперь моложе всего остального были лишь глаза. Огромные, голубые, они по-прежнему сияли пристальным блеском из глубины лица. Но окружали их кожаные мешки и вороньи лапки морщин. Пара глубоких горизонтальных складок пролегла вдоль лба. И такие же складки, начинаясь от крыльев носа, тянулись мимо рта, где частично сливались с другой системой морщин, двигавшихся в такт движению ее губ, и заканчивались у краев нижней челюсти, образуя резкую разграничительную полосу между заметно обвисшими щеками и пока четко очерченным волевым подбородком. Рот был излишне широк, а очертания губ утратили правильность линий, что миссис Олдуинкл лишь усугубляла, щедро накладывая красную помаду. Миссис Олдуинкл стала импрессионисткой; теперь ее интересовал только эффект, который она производила на расстоянии, как загримированная актриса на сцене с галерки зрительного зала. Чтобы возиться за туалетным столиком с мелкими деталями, тщательно прописывавшимися прерафаэлитами, у нее никогда не хватало терпения.

Она на мгновение задержалась на верхней ступеньке лестницы - импозантная, даже грандиозная фигура. Длинное и широкое платье из бледно-зеленой льняной ткани опускалось изогнутыми оборками. Концы зеленой ленты, повязанной вокруг тульи широкополой соломенной шляпки, легко ниспадали на

плечи. На согнутой в локте руке миссис Олдуинкл держала большой ридикюль, а с пояса на талии свисало множество коротких цепочек. Это была настоящая сокровищница.

– Вот вы где! – улыбнулась она приближавшемуся к ней Кэлами той улыбкой, какая в былые времена полнилась неизъяснимой сладостью и манящим очарованием.

Но все эти ее качества, увы, стали теперь достоянием истории. Жестом, который мог показаться одновременно и театрально преувеличенным и вполне естественным для такой женщины, миссис Олдуинкл внезапно развела руки в стороны и, готовая к приветственным объятиям гостеприимной хозяйки, сбежала по ступенькам. Причем движения миссис Олдуинкл были так же дисгармоничны и неуверенны, как и голос. Она двигалась неуклюже и скованно. Величавость прежней статичной позы исчезла.

– Дорогой Кэлами! – воскликнула миссис Олдуинкл и обняла его. – Я просто должна расцеловать вас. Мы не виделись целую вечность. – Потом она с подозрительным видом посмотрела на мисс Триплау и спросила: – И давно он уже здесь?

– Прибыл перед самым чаепитием, – ответила мисс Триплау.

– Перед чаепитием? – повторила миссис Олдуинкл взволнованно, но и немного сердито. – Почему же вы вовремя не уведомили меня, когда вас ждать? – обратилась она к Кэлами.

Мысль, что он появился, когда ее не было дома, и, видимо, провел время в беседе с Мэри Триплау, раздражала. Дело в том, что миссис Олдуинкл постоянно преследовал страх пропустить нечто важное. Уже много лет у нее складывалось впечатление, будто во вселенной созрел некий всеобщий заговор, чтобы удержать ее от мест, где происходило что-то интересное и можно было услышать какие-то восхитительные речи. Она и так уже проявила чрезмерную терпимость нынешним утром, когда позволила мисс Триплау остаться во дворце одной. Миссис Олдуинкл не хотела, чтобы ее гости вели свое независимое существование вне поля ее зрения. И если бы она только знала, если бы ей хоть кто-то намекнул, что в ее отсутствие может приехать Кэлами, который несколько часов проведет в уединении с Мэри Триплау, она вообще отменила бы

на сегодня поездку к морю. Осталась бы дома, как ни велик был соблазн искупаться в такую жару.

– Я заметила, вы постарались выглядеть особенно нарядно по такому случаю, – продолжила миссис Олдуинкл, разглядывая жемчуга мисс Триплау и ее черное шелковое платье, отороченное белыми кантами по оборкам.

Мисс Триплау уже снова любовалась пейзажем и сделала вид, будто не расслышала слов хозяйки. У нее не было ни малейшего желания вступить в разговор.

– Хорошо, – обратилась миссис Олдуинкл к своему новому гостю, – тогда я должна показать вам вид, внутреннее устройство дома и все прочее.

– Спасибо, но мисс Триплау была настолько любезна, что уже устроила для меня небольшую экскурсию, – произнес Кэлами.

Подобное известие вызвало на лице миссис Олдуинкл нескрываемое раздражение.

– Но она никак не могла показать вам всего, – возразила она, – потому что не знает, на что следовало бы обратить внимание в первую очередь. И кроме того, Мэри ничего не известно об истории дома, о знаменитых членах семьи Чибо-Маласпина, о художниках, занимавшихся оформлением дворца. – Миссис Олдуинкл взмахнула рукой, показывая, что Мэри Триплау не знала вообще ничего, а потому не годилась в гиды для гостя при прогулке по дому и окружающим его садам.

– Но уверяю вас, – сказал Кэлами, стараясь угодить хозяйке, – я уже увидел достаточно и нахожусь под сильнейшим впечатлением от того, насколько чудесное место ваш особняк.

Однако миссис Олдуинкл отнюдь не удовлетворило это спонтанное и непрошеное пока выражение восхищения. Она пребывала в твердой уверенности, что он не мог оценить всей красоты вида, не умел проанализировать его прелести, не разложив их на составные части. И потому пустилась в пространные объяснения:

– Кипарисы превосходно контрастируют с оливами, – произнесла она, пользуясь своим зонтиком от солнца как указкой, словно читала лекцию с показом цветных диапозитивов через фильмоскоп.

Она сама, конечно, понимала это, она обладала способностью прочувствовать каждую деталь. Потому что вид стал теперь ее собственностью. И по одной лишь этой причине он был лучшим в мире, но в то же время только ей одной предоставлялось право открыть гостям глаза на данный факт.

Мы всегда склонны переоценивать вещи, принадлежащие нам лично. Провинциальные картинные галереи просто увешаны полотнами Рафаэля и Джорджоне. Если верить его жителям, то самый блистательный город во всем христианском мире – Дублин. Мой граммофон и мой «форд» лучше ваших. И какую же тоску наводят на нас те бедные, но такие культурные туристы, которые с гордостью принимают демонстрировать нам свою коллекцию почтовых открыток с репродукциями произведений живописи, словно они приобрели сами картины.

А ведь вместе с дворцом миссис Олдуинкл получила богатства, о которых не упоминалось в контракте. Начать с того, что она за те же деньги купила семью Чибо-Маласпина и всю ее историю. Семейство могло лишь похвастаться тем, что незадолго до своего полного исчезновения произвело на свет князя Масса-Каррара, с ним в вольтеровском «Кандиде» была обручена Старая Женщина в пору, когда была молодой красавицей-дочерью папы римского. Миссис Олдуинкл мысленно поставила семейство в один великолепный ряд с династиями Гонзага, Эсте, Медичи и Висконти. Даже скучнейшие герцоги Моденские, когда-то снимавшие дворец (за исключением краткого периода нашествия Наполеона) после смерти последнего отпрыска Маласпина и до основания Итальянского королевства, получили пользу от своей связи с этим местом, потому что миссис Олдуинкл провозгласила их покровителями литературы и подлинными отцами своего народа. И сестра Наполеона – Элиза Баччокки, в бытность княгиней Лукка, провела не одно жаркое лето на вершине этого холма и удостоилась доброго слова от миссис Олдуинкл за исключительную приверженность к искусствам, но еще больше была уважаема новой хозяйкой за столь же неудержимую страсть к плотской любви. В Элизе Буонапарт-Баччокки миссис Олдуинкл обрела почти духовную сестру, которая одна была бы способна понять ее.

То же самое произошло и с пейзажем. Он полностью принадлежал теперь ей до самой отдаленной точки на горизонте, и никто не мог по-настоящему оценить его. А какой любовью миссис Олдуинкл прониклась к итальянцам! С того дня, как ею был приобретен дом в Италии, она превратилась в одну из редких иностранок, которые действительно близко узнали их. Складывалось впечатление, будто ее собственностью по секрету стал целиком полуостров вместе со всем своим содержимым. Что она купила живопись, музыку, мелодичный язык, литературу, вино и кухню, красоту итальянских женщин и энергию итальянских фашистов. Она стала чувствовать по-итальянски: *cuore, amore, dolore* [3 - Сердце, любовь и боль (ит.).] – роднее слов она не знала. Не забыла прикупить и климат – лучший в Европе. И фауну: с огромной гордостью прочитала однажды в утренней газете, как волк сожрал какого-то спортсмена из Пистойи в пятнадцати милях от его дома! И флору: особенно красные анемоны и дикие тюльпаны. И могучие вулканы, все еще способные в любой момент ожить. И даже землетрясения...

– А теперь, – сказала миссис Олдуинкл, закончив разбирать пейзаж на части и полировать каждую из них, – мы должны осмотреть дом.

Она повернулась к пейзажу спиной.

– Эта часть дворца, – продолжила она лекцию, – датируется примерно 1630 годом.

Миссис Олдуинкл указала зонтиком вверх; цветные диапозитивы теперь показывали архитектуру.

– Превосходный образец раннего барокко. Уцелевшая часть древнего замка с башней составляет теперь восточное крыло дома...

Мисс Триплау, которой все это было давно известно, слушала ее тем не менее с живейшим интересом, с каким дети слушают лекторов в Королевском институте. Отчасти, чтобы уменьшить раздражение миссис Олдуинкл, вызванное тем, что она одна находилась дома, когда прибыл Кэлами, а также с целью поразить самого Кэлами своей способностью к проявлению искренней, полнейшей и простодушной заинтересованности даже в самых тривиальных жизненных ситуациях.

– Сейчас настало время показать вам дворец изнутри, – сказала миссис Олдуинкл, поднимаясь по ступеням от террасы к дому. Ее драгоценности на цепочках мелодично позвякивали.

Мисс Триплау и Кэлами покорно поплелись за ней.

– Бо`льшая часть картин принадлежит кисти Паскуале да Монтекатини, великого живописца, до сих пор не оцененного по достоинству. – Она с грустью покачала головой.

Мисс Триплау смутилась, когда, реагируя на это замечание, компаньон бросил на нее лукавый взгляд и усмехнулся. Ответить ему такой же заговорщицки ироничной grimасой или игнорировать ее, сохраняя выражение лица, предназначенное для лектора Королевского института? В итоге она все же решила оставить его попытку конфиденциально пошутить за спиной хозяйки без ответа.

На пороге большого зала их встречала молоденькая девушка в платье из бледно-розового полотна, с очень юным круглым лицом. Широко открытые светло-голубые глаза смотрели из-под прямой челки. У нее был маленький, аккуратно вздернутый носик. Коротковатая верхняя губа придавала ей одновременно несколько жалкий и веселый вид, что бывает, как правило, у детей. Племянницу миссис Олдуинкл звали Ирэн.

Она пожала Кэлами руку.

– Наверное, – сказал он, – мне полагается произнести комплимент, как сильно вы выросли с того времени, когда я видел вас в последний раз. Но правда в том, что это совсем не так.

– Я ничего не могу поделать со своей внешностью, – ответила она. – Но вот внутренне...

Внутри Ирэн действительно была старше камней, на которых построили дом. Пять самых важных для взросления лет под руководством тетушки Лилиан не прошли для нее даром. Хозяйка дворца нетерпеливо прервала их диалог.

– Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на потолок, – обратилась она к Кэлами.

Как курицы, пьющие воду, они задрали головы и уставились на сцену похищения Европы. Миссис Олдуинкл опустила взгляд.

– А здесь без особых изысков изображены морские божества.

В паре больших ниш, отделанных ракушечником и пористым камнем, две группы фигур корчились в сомнительно фривольных позах.

– Прекрасно выдержано в духе шестнадцатого века, – прокомментировала миссис Олдуинкл.

Ирэн, чувствуя, что давнее знакомство с морскими богами позволяет ей уделить им на сей раз не слишком много внимания, заметила, что кретоновые покрывала кресел изрядно помялись. Человек аккуратный, – а, живя с тетей Лилиан, ей приходилось быть аккуратной за двоих, – она неслышными шагами пересекла зал, чтобы поправить их. Склонившись к ближайшему креслу, взялась за покрывало сиденья по краям и резко дернула на себя, чтобы полностью снять, а затем ровно постелить заново. Ткань легко поддалась резко поднявшимся парусом, и из нее, словно из ниоткуда, будто Ирэн проделала некий заранее задуманный фокус, вдруг пролился сверкающий дождь драгоценностей. Они застучали по полу, покатались по керамическим плиткам. Шум мгновенно вывел мисс Триплау из восторженной сосредоточенности при созерцании пористого песчаника ниш. Она повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть кольцо со скарабеем, быстро катившееся по кривой линии к ней под ноги, подпрыгивая на щелях между плитками. В нескольких футах от нее кольцо потеряло инерцию и замерло. Мисс Триплау подняла его.

– О, это всего лишь мои кольца, – небрежно бросила она, словно не было ничего более естественного в мире, чем неожиданное появление украшений из драпировки кресла, поправленной Ирэн. – Только и всего, – добавила она ободряюще, чтобы вывести Ирэн из столбняка, потому что та стояла, застыв от неожиданности при виде россыпи ювелирных украшений.

К счастью, миссис Олдуинкл была в этот момент полностью поглощена собой, рассказывая Кэлами о судьбе и творчестве Паскуале да Монтекатини.

Глава III

Ужин был накрыт в Зале предков. В безудержном воображении миссис Олдуинкл легко рождались сцены неподражаемых встреч, происходивших в этих стенах, – пусть в действительности такое могло случиться лишь за долгие столетия до того, как стены возвели. И что это были за пиршества ума! Именно здесь Фома Аквинский, по ее мнению, доверял первым представителям династии Маласпина свои тайные сомнения в существовании врожденного интеллекта и как бы в насмешку за кубком вина приниженно демонстрировал этим баронам-разбойникам свой смиренный дар принимать интуитивно верные решения. Данте развивал идеи о том, что благоразумнее иметь платоническую возлюбленную, с которой ты никогда не встречался, кого при необходимости можно было бы слить воедино с образом теологии. Странствующий проповедник Петр Пикардийский, остановившийся здесь на пути в Рим, зачитывал рифмованные отрывки из своей «Физиологии», где говорилось о гиене, животном-гермафродите, обладавшем каменным глазом; стоило человеку подержать этот глаз во рту, как он приобретал способность прозревать будущее. Но главным образом этот зверь символизировал алчность и распутство. Боккаччо рассуждал о происхождении богов. Пико делла Мирандола, поедая голову дикого кабана, цитировал каббалу в подтверждение доктрины существования Троицы. Микеланджело показывал свои чертежи фасада будущей базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Галилей рассуждал о том, почему вакуум в природных условиях возможен только до высоты в тридцать два фута. Марини поражал всех игрой воображения. Лука Джордано на спор успевал написать между жарким и десертом полномасштабное полотно, изображавшее переход Ганнибала через Альпы...

А какие необыкновенные женщины придавали возвышенный блеск этим трапезам! Прекрасные, вечно молодые, наилучшие образы которых запечатлел в своем трактате «О придворных» Кастильоне, они просто источали любовь и вдохновляли гениальных мужчин на восхождение к новым высотам мысли и творчества, по временам с невыразимой грацией усмиряя слишком пылких из них, готовых сойтись в поединке.

С того дня, как миссис Олдуинкл купила дворец, она поставила себе амбициозную цель возродить славные традиции старины. В потаенных мечтах видела себя княгиней, при дворе которой собирались бы поэты, философы и

художники. Красивые женщины должны были воздушно скользить по залам и садам, излучая любовь к талантливейшим из мужчин. И периодически, чтобы заселить обширную детскую, которую Чибо-Маласпина пристроили к своему дворцу в подражание Гонзага, они безболезненно рожали бы детей от гениев – курчавых белозубых херувимов. Те появлялись бы на свет уже двухлетними, и все как один должны были сразу проявлять свои будущие способности. Ей виделись шеренги маленьких Моцартов. Одним словом, дворец Вецца призван был стать тем, чем он никогда не являлся. Разве что в фантазиях миссис Олдуинкл.

Каким он был на самом деле, можно было только догадываться, вглядываясь в лица предков, которые и дали банкетному залу его название.

Установленные в высоких круглых нишах под самым потолком огромного квадратного помещения бюсты сиятельных представителей рода Масса-Каррара смотрели на вас сквозь толщу минувших веков. Ниши протянулись по всему периметру, начиная слева от очага и заканчиваясь справа лепной головой предпоследнего Чибо-Маласпина. Собственно, он и стал использовать данный зал как трапезную. И по мере того как маркиз сменял маркиза, а князь князя, выражение глубокого умственного вырождения все очевиднее читалось на лицах предков. Хищные носы, похожие на клювы стервятников, и мужественные подбородки первых баронов-разбойников постепенно трансформировались в нечто напоминавшее хоботки муравьедов и в уродливо деформированные, выступавшие вперед нижние челюсти. Лбы становились у` же с каждым новым поколением, даже мраморные глаза казались более пустыми, а гордые выражения лиц были менее уверенными. Чибо-Маласпина бахвалились, будто никогда не женились на дамах менее высокородных, чем они сами, а все их наследники до единого считались законнорожденными. И достаточно было лишь взглянуть на лица трех последних князей, чтобы убедиться в правдивости подобных заявлений. Разве могли подобные люди дружить с созданиями столь низкого происхождения, как музы?

– Вообразите великолепии этих сцен, – восторженно говорила миссис Олдуинкл, входя в Зал предков под руку с Кэлами. – Пламя бесчисленных свечей, шелка, драгоценности. И огромная толпа гостей перемещается по залу с чувством собственного достоинства, но и в соответствии с правилами этикета.

И последняя представительница этих неподражаемых существ (даром что приемная), миссис Олдуинкл с еще более высоко поднятой головой, элегантно

покачивавшейся походкой проплыла через зал к небольшому столу, за которым в не столь уж ослепительной обстановке последователям Чибо-Маласпина предстояло вкусить свой ужин. Шлейф кораллового оттенка бархатного платья шелестел позади нее.

– Это действительно было прекрасно, – согласился Кэлами. – С точки зрения живописности церемоний мы многое утратили, отказавшись от требований этикета. Можно только гадать, до каких еще фривольностей мы докатимся. Например, мистер Гладстон в свои преклонные годы нанес визит в Оксфорд и пришел в ужас, заметив новую манеру одеваться среди студентов. В дни его молодости каждый уважающий себя юноша имел по меньшей мере одну пару брюк, в которых никогда не садился, чтобы не образовались мешки на коленях, а каждый его наряд для обычных прогулок по улицам никогда не стоил меньше семидесяти фунтов. Во время приезда Гладстона студенты еще носили жесткие воротники и котелки. Трудно представить, какое впечатление произвели бы на него нынешние учащиеся. И как будем отзываться о них мы сами лет эдак через пятьдесят.

Компания расположилась за столом. Кэлами, как вновь прибывший, занял почетное место по правую руку от миссис Олдуинкл.

– Вы затронули чрезвычайно интересную тему, – сказал мистер Кардан, сидевший напротив него и слева от хозяйки. – Чрезвычайно интересную, – повторил он, разворачивая салфетку.

Мистер Кардан был среднего роста, полноватый. В верхней части брюк шов пролегал по обширному бедру, очень широкие плечи дополняла короткая мощная шея. Красное лицо выглядело упрямым и шишковатым, как наконечник палитры. Это было загадочное и какое-то двусмысленное лицо, в нормальном выражении которого читались грубость и утонченная чувствительность, серьезность и озорство. Тонкие губы так точно сходились вместе, словно являлись подвижной частью некоего очень добротного сделанного предмета мебелировки. Причем линия, вдоль которой смыкались губы, казалась бы идеально ровной, если бы в одном из уголков рта горизонталь не нарушалась легким искривлением вниз, отчего складывалось впечатление, что мистеру Кардану постоянно приходилось с трудом сдерживать кривую улыбку, назойливо пытавшуюся исказить его в целом такое сдержанное лицо. Волосы гладкие, серебристо-седые и аккуратно уложенные. Нос короткий и прямой, как у льва, но льва, который с возрастом и от хорошей жизни потерял свирепость. Из тесного

окружения сетки мелких морщин смотрели глаза, маленькие, яркие и синие. Возможно, после болезни или же просто под грузом шестидесяти пяти лет одна из седых бровей навсегда обосновалась ниже другой. Правой стороной лица Кардан смотрел на вас загадочно и доверительно, будто хронически и многозначительно подмигивал. Зато слева взгляд казался надменно аристократичным, словно глазница с этой стороны была неестественно увеличена невидимым моноклем. Когда он говорил, в его глазах к добродушию примешивалась злость, но стоило засмеяться, и каждая лоснящаяся шишечка его красной физиономии весело загоралась, как от подсветки изнутри.

Мистер Кардан не был ни поэтом, ни философом. Он не происходил из особо знатного рода, тем не менее миссис Олдуинкл, близко знакомая с ним много лет, считала оправданным его приближенность к своему двору. Полагала, что он мог бы стать великим практически в любой области деятельности, но в силу природной лени пребывал в полнейшей неизвестности.

Попробовав суп, мистер Кардан повторил:

– Чрезвычайно интересную тему.

Он обладал мелодичным, богатым обертонами, приятным мягким голосом, не слишком страдавшим от легкой хрипотцы – впрочем, звучали в нем и сипловатые нотки немолодого мужчины, который в свое время позволял себе крепко выпить, плотно поесть и не отказывался при случае заняться любовью.

– Обилие формальностей, внешней помпезности, строгих правил этикета в прошлом и их практически полное исчезновение из современного образа жизни – весьма необычное явление. Формальности и помпезность являлись важнейшими чертами древних форм правления. Тирания, скрашиваемая театральными сценами трансформации, рассчитанными на стороннего наблюдателя, – такова была основная формула всех правительств семнадцатого столетия, особенно в Италии. Устраивайте для своего народа торжественную процессию или иное похожее действо хотя бы раз в месяц, и потом можете творить что угодно. Папство довело подобный способ правления до полного совершенства. Но его имитировал любой самый мелкий синьор, вплоть до последнего безземельного князька на всем полуострове. Посмотрите на архитектуру того периода – ее формы полностью диктовались необходимостью быть выставленными напоказ. Задачей архитектора становилось создание необходимых декораций для бесконечных любительских спектаклей, которые устраивали заказчики. Длинные

анфилады залов для торжественного прохода, широкие улицы для народных шествий, необъятные лестницы, по которым монарх мог нисходить с небес. Никаких удобств, потому что они нужны в уединении. Требовались лишь размеры и величественность, чтобы поразить воображение тех, кто видит все со стороны. Наполеон стал последним великим тираном, практиковавшим это систематически и чуть ли не на научной основе. Спектакли, триумфальные въезды и выезды, коронации, бракосочетания и крестины наследников – при тщательно подготовленных сценических эффектах на это можно, пожалуй, списать половину секрета его популярности. А теперь никакой помпы. Неужели наши нынешние правители настолько глупы, до такой степени невосприимчивы к урокам истории, что пренебрегают столь бесценными подспорьями? Или общественные вкусы так изменились, что у публики подобные представления уже не пользуются спросом и не производят должного впечатления? Позвольте мне адресовать данный вопрос нашим друзьям из политических сфер. – Мистер Кардан подался вперед и, посмотрев мимо сидевшей слева от него мисс Триплау, улыбнулся молодому человеку, расположившемуся вслед за ней, а потом мужчине постарше, занимавшему место по противоположную сторону стола рядом с Ирэн Олдуинкл.

Молодой человек, который выглядел даже моложе, чем был на самом деле – а ведь в действительности минуло всего два или три месяца с тех пор как лорд Ховенден достиг совершеннолетия, – дружески улыбнулся в ответ Кардану, но покачал головой, а потом с надеждой обратил взор на того, кто сидел напротив.

– Сплосите что-нибудь поплосче, – сказал он. Лорд Ховенден до сих пор почти не выговаривал букву «р». – Что вы думаете об этом, мистел Фэлкс?

На мальчишеском веснушчатом лице появилось уважительно внимательное выражение, пока он ждал ответа мистера Фэлкса. И каким бы ответ ни был, становилось ясно, что лорд Ховенден будет считать его гласом оракула. Он восхищался мистером Фэлксом, преклонялся перед ним.

Внешность мистера Фэлкса располагала к восхищению и уважению. Седая борода, длинные и вьющиеся седые волосы, большие темные и влажные глаза, гладкий широкий лоб и орлиный нос – все это указывало на человека, способного на пророчества. И внешность в данном случае не являлась обманчивой. В другую эпоху, при иных обстоятельствах мистер Фэлкс, вероятно, и стал бы чьим-то придворным пророком: обличителем, глашатаем, советником. Но родившись в середине девятнадцатого века и проработав в молодости тем, кем мечтает быть

каждый мальчишка в возрасте от трех до семи лет, а именно машинистом паровоза, он стал не пророком, а одним из лидеров лейбористов.

Лорд Ховенден, который заслужил право числиться при дворе миссис Олдуинкл уже потому, что она знала его с младенчества, что он являлся потомком Симона де Монфорта и был несметно богат, добавил в свою колоду козырей, став горячим приверженцем гильдейского социализма[4 - Концепция социализма в начале 20-х годов XX века в Англии.]. Один серьезный молодой учитель привлек его внимание к факту, что его окружало множество бедняков, чья жизнь была невыносимо тяжелой и печальной, и кто, если бы справедливость восторжествовала, мог бы значительно улучшить условия своего существования. Великодушные порывы всколыхнулись в нем. По молодости он хотел максимально ускорить наступление эпохи всеобщего процветания. Впрочем, вполне возможно, что им двигало и эгоистическое желание хоть чем-нибудь выделиться на фоне себе подобных. У людей, рожденных в мире богатства и привилегий, снобизм часто принимает формы, которые отличаются от общепринятых. Хотя это все же редкость, поскольку большинство богатых и титулованных относятся к богатству и титулам с тем же величайшим почтением, как и те, кто знаком с аристократией и плутократией лишь по художественной литературе и журнальным статьям. Но есть и те, кто стремится вырваться из привычного окружения в более высокие интеллектуальные сферы, заражается снобизмом политическим или артистическим. Именно такой снобизм – желание блистать не происхождением, а умом – на подсознательном уровне смешался в лорде Ховендене с чисто человеческой добротой и желанием действовать, отчего только усилился.

Лорду Ховендену доставили величайшее удовольствие, познакомив его с мистером Фэлксом, и мысль, что он стал единственным из своих родных, знакомых и друзей, кто удостоился чести сблизиться с мистером Фэлксом, один свободно вращался в тех же необычайных политических кругах, что и мистер Фэлкс, наполняла его энтузиазмом для борьбы за социальную справедливость. Правда, в последнее время все чаще случалось так, что требования напряженной светской жизни вступали у лорда Ховендена в конфликт с его общественными обязанностями, оставляя мало времени на дела мистера Фэлкса и гильдейского социализма. У того, кто танцевал так много и часто, как он, уже не хватало энергии ни на что другое. В паузах между вечеринками он со стыдом вспоминал, что давно не отдавал долга своим политическим убеждениям. И именно для того, чтобы восполнить пробел, сократил для себя сезон охоты на фазанов и согласился сопровождать мистера Фэлкса на международную конференцию лейбористов в Риме. Конференция начиналась в конце сентября,

но лорд Ховенден щедро пожертвовал еще месяцем охотничьего сезона, предложив, чтобы до открытия конференции они с мистером Фэлксом несколько недель погостили у миссис Олдуинкл. «Приезжай когда захочешь и привози с собой кого захочешь», говорилось в приглашении Лилиан. Он телеграфировал миссис Олдуинкл, что мистер Фэлкс нуждался в отдыхе, и предупредил об их совместном приезде. Миссис Олдуинкл ответила, что будет рада видеть их у себя. Так они и оказались за этим столом.

Мистер Фэлкс помолчал, прежде чем ответить на вопрос мистера Кардана. Он обвел своими темными блестящими глазами присутствовавших, словно привлекал к себе всеобщее внимание, потом заговорил тем проникающим в душу тоном, который уже не раз вызывал энтузиазм среди его многочисленных слушателей:

– Политические руководители двадцатого века слишком уважают просвещенную демократию, чтобы заниматься мистификациями и пытаться отвлечь внимание народных масс всевозможными представлениями. Демократия обращена в первую очередь к разуму.

– Неужели? – возразил мистер Кардан. – А как же тогда быть с выступлениями мистера Бриана против теории эволюции?

– Кроме того, – продолжил мистер Фэлкс, не обращая на него внимания, – мы, люди двадцатого столетия, уже переросли подобное.

– Возможно, – сказал мистер Кардан, – хотя я не вижу, каким образом нам это удалось. Точки зрения, конечно, меняются, но вот только любовь к представлениям не есть точка зрения. Она основана на чем-то, заложенном в нас более глубоко, на чем-то, не подлежащем изменению. – Это напомнило мне, – продолжил он после паузы, – о другой, не менее глубоко укоренившейся привычке, претерпевшей сегодня изменения. Я говорю о нашем восприятии лести. Невозможно найти ни одного труда древнего моралиста, чтобы он не содержал грозного выпада против льстецов. «Льстивые уста готовят падение» – вот вам цитата из Библии. И там же упоминается о наказании, ожидающем льстеца. «У льстящего друзьям своим глаза детей его перестанут видеть», хотя, если вдуматься, перенос кары на других делает ее менее устрашающей. В древности властители и богачи представляются легкоуязвимыми для льстецов. А ведь льстили они так грубо! Судя по многим примерам, свою работу они делали топорно! Как же могла образованная плутократия тех времен принимать

на веру столь примитивно льстивые речи? В наши дни ничто подобное невозможно. Чтобы произвести такой же эффект, современная лесть должна быть тысячекратно более утонченной и изощренной. В произведениях нынешних моралистов я никогда не встречал ни единого предостережения против льстецов. Таким образом, произошла некая значительная перемена, но вот только что к ней привело, остается для меня загадкой.

– Вероятно, это простое следствие общего морального прогресса человечества, – высказал предположение мистер Фэлкс.

Лорд Ховенден отвел взор от лица мистера Фэлкса, с которого он не сводил благоговейного взгляда, пока тот говорил, и улыбнулся мистру Кардану с видом триумфатора, как бы вопрошая: ну, есть вам что возразить?

– Вероятно, – повторил мистер Кардан, но с сомнением в тоне.

Кэлами предложил свое объяснение:

– Лично я уверен, что это стало следствием изменения статуса властителей и богачей. В древности они считали сами и позволяли так же думать другим, что их власть и материальное процветание дарованы им от Бога. Соответственно, самая грубая лесть не казалась им преувеличением. Но современные князья и миллионеры утратили свой божественный ореол. А потому лесть, которая некогда воспринималась как должная дань уважения, звучит чрезмерным восхвалением. То, что в далеком прошлом сходило за искренность, сейчас бы прозвучало скорее иронично.

– Полагаю, вы правы, – произнес мистер Кардан. – Но к одному важному результату упадок лести привел. Это в значительной степени повлияло на приемы, используемые паразитами.

– А разве в образе жизни паразитов когда-либо что-то менялось? – спросил Фэлкс. Лорд Ховенден поддержал его, окинув мистера Кардана внимательным взглядом. – Разве они не всегда были одинаковы, пожиная плоды общественного труда, но ничего сами не вкладывая в общее дело?

– Мы говорим о другой разновидности паразитов, – объяснил мистер Кардан, добродушно подмигивая несостоявшемуся пророку. – Для вас паразиты –

богатые бездельники; для меня – бездельники бедные, живущие за счет богатых бездельников. Большие мухи окружены маленькими мушками; я имел в виду глистов, которые заводятся у глистов. Очень интересный класс людей, уверяю вас, он до сих пор не был должным образом изучен историками человеческих типажей. Разумеется, есть обширный труд Лукиана об искусстве быть паразитом, блестящее произведение, однако устаревшее, особенно в той части, где говорится о лести. В этом смысле Дидро предпочтительнее Лукиана. Но в «Племяннике Рамо» описан лишь один из типов паразитов, причем не самый удачливый и не наиболее достойный подражания. Мистер Скимпол из «Холодного дома» Чарлза Диккенса неплох. Но ему не хватает утонченности. Он не может служить образцом для подающего надежды молодого глиста. И факт остается фактом: ни один серьезный автор, насколько мне известно, по-настоящему не разработал тему подобных паразитов. И я ощущаю это пренебрежение почти как личную обиду, – добавил мистер Кардан, подмигнув сначала миссис Олдуинкл, а затем одновременно всем собравшимся за столом гостям. – Обучая, как я это делаю сам – или пытаюсь обучать, будет более точным определением, – таинствам паразитизма, я считаю данный заговор молчания оскорбительным.

– Какой абсурд ты несешь, – заметила миссис Олдуинкл. Кстати, простодушное описание собственных моральных дефектов и слабостей частенько становились темой, которую поднимал в разговоре сам мистер Кардан. Обезоружить возможных критиков упреждающим ударом, шокировать и смутить тех, кто легко повергался в смущение, провозгласить собственную свободу от общепринятых предрассудков, легко признавшись в пороке, какой другие предпочли бы скрыть, – именно с этой целью мистер Кардан в столь веселой манере выдавал себя с головой.

– Абсурд! – повторила миссис Олдуинкл.

Мистер Кардан покачал головой.

– Вовсе не абсурд, – возразил он. – Я всего лишь говорю правду. Поскольку, увы, истина заключается в том, что я так и не стал удачливым паразитом. Из меня мог бы получиться умный льстец, но, к сожалению, на мою долю выпала эпоха, когда лестью уже ничего не добьешься. Я мог бы стать хорошим клоуном, будь глупее и жизнерадостнее. Но даже имея такую возможность, я бы трижды подумал, прежде чем избрать эту стезю паразитизма. Придворный шут – опасное занятие. Будущее его шатко. Ты можешь смешить какое-то время, но скоро

наскучишь или, хуже того, невзначай обидишь своего покровителя. В «Племяннике Рамо» Дидро выведен наилучший литературный образец данного типа, но вы знаете, какую жалкую жизнь он вел. Нет, паразит, которому постоянно сопутствует успех, по крайней мере в наши дни, принадлежит к иной разновидности – но к ней, увы, при всех своих способностях я приспособиться не сумею.

– Надеюсь, что нет, – произнесла миссис Олдуинкл, вставая на защиту истинной благородной сущности мистера Кардана.

Мистер Кардан поклоном поблагодарил ее и продолжил:

– Все по-настоящему удачливые паразиты, с которыми я сталкивался в последнее время, принадлежат к одной разновидности. Они тихие, вкрадчивые, производят жалкое впечатление. Таким образом, им удастся вызвать к чужим материнским инстинктам. Обычно они обладают каким-либо небольшим, но чарующим талантом, который не признает окружающий мир, но умеет ценить покровитель, исключительно благодаря своему редкостному уму. Вот вам и деликатная форма лести. Они никогда и никого не обижают, не занимаются клоунадой, не выпячивают себя, а просто смотрят по-собачьи преданными глазами. Когда их присутствие надоедает, они могут стать почти невидимыми. Быть защитником такого существа означает удовлетворить свое стремление доминировать над кем-то и насытить альтруистические родительские инстинкты, подвигающие нас на дружбу с теми, кто слаб и беспомощен без нас. На данную тему можно создать обширное повествование, – добавил мистер Кардан, обращаясь к мисс Триплау: – Вы написали бы на таком материале глубокую по смыслу книгу. Мне следовало бы это сделать самому, будь я писателем, а, видит Бог, я мог бы им стать. Но пока предлагаю эту тему вам.

Мисс Триплау поблагодарила его. На протяжении всего ужина она была тиха, как мышь. После подводных рифов и прочих опасностей, которых ей удалось избежать ранее, после того, как едва не создала для себя очередной «скелет в шкафу», мисс Триплау сочла за благо отсидеться молча, чтобы выглядеть при этом непритязательно и естественно. Небольшие изменения, какие она внесла в свой наряд перед ужином, производили нужное впечатление. Начала она с того, что избавилась от жемчужного ожерелья и даже кольца с изумрудом несмотря на всю его неброскость. Так-то лучше, подумала мисс Триплау, глядя на скромную маленькую фигурку в простом черном платье без единого украшения, с руками – такими белыми и хрупкими, с лицом – бледным и гладким, которая

отражалась в зеркале. «С какой открытостью и невинностью во взоре смотрит она на вас своими большими карими глазами!» Ей представлялось, как Кэлами говорит нечто подобное мистеру Кардану, но вот ответ мистера Кардана предсказать не могла. Он так циничен.

Открыв один из ящиков, она достала черную шелковую шаль, но не венецианскую с длинной бахромой, а гораздо менее романтичный и несколько буржуазный английский наплечный платок, принадлежавший ее матери. Мисс Триплау набросила его на себя и скрестила концы поперек груди. Теперь в трюмо отразилась почти монашка, нет, это было даже лучше. Она напоминала юную ученицу монастырской школы. Одну из сотен девочек в черном, державшихся парами в отделанных кружевами панталонах, доходивших до лодыжек, и на прогулке образовывавших строй в виде очень длинного крокодила, достигавшего роста в пять футов и восемь дюймов у головы и закачивавшегося хвостиком ровно в четыре фута. А вот если бы мисс Триплау натянула шаль на голову в виде капюшона, то выглядела бы еще проще, незаметнее, беднее и честнее, превратившись в молодую работницу фабрики, которая спешит, клацая сабо по мостовой, к своему прядильному станку. Но это было бы чересчур. В конце концов, она все-таки не какая-то простушка из Ланкашира. Культурная, но неиспорченная, умная, но без претензий и естественная. И мисс Триплау спустилась к ужину, плотно обернув платок вокруг плеч. Очень маленькая и тихая. Лучшая ученица старшего класса монастырской школы обладала всеми необходимыми достоинствами, однако воспитание не позволяло ей говорить, пока к ней не обращались. Поэтому кратко и сдержанно она поблагодарила его.

– А между тем, – продолжил мистер Кардан, – должен констатировать печальный факт, что мне никогда не удавалось убедить кого-нибудь стать полностью ответственным за мою судьбу. Не стану отрицать, я поглотил центнеры чужой еды, выпил гектолитры их спиртного, – он приподнял свой бокал, посмотрел поверх него на хозяйку и опустошил в ее честь, – за что всем бесконечно признателен. Но у меня не получалось постоянно жить за их счет. Как и они сами, со своей стороны, не выказывали ни малейших признаков желания навсегда присвоить меня себе. Увы, но я обладаю непригодным для этого характером. Я недостаточно жалок. Ни одной леди никогда не приходило в голову, что я могу в какой-то момент особо нуждаться в материальной помощи. Скажу больше, если я и пользовался у них успехом – надеюсь, что в моих устах это не прозвучит глупым бахвальством, – то скорее за счет своей силы, нежели слабости. Однако мне уже шестьдесят шесть... – Он с грустью покачал головой. – Но даже с возрастом в виде заслуженной компенсации не приобретаешь более

жалкого облика.

Мистер Фэлкс, чьи моральные принципы отличались простотой и ортодоксальностью, тоже покачал головой: ему подобное не понравилось. А откровенность мистера Кардана неприятно поразила.

– Что я могу вам сказать на это, – произнес он. – После того как мы хотя бы ненадолго возьмем власть в свои руки, паразиты перестанут существовать. Всем придется заняться каким-нибудь делом.

– К счастью, – сказал мистер Кардан, накладывая себе еще порцию ассорти из жареного мяса, – к тому времени меня уже не будет в живых. Я не смогу уцелеть в мире, который друзья мистера Фэлкса напичатуют доброй дозой из смеси средства Китинга и глистогонного. Ах, бедные вы мои молодые люди, – продолжил он, снова поворачиваясь к мисс Триплау, – какую же ужасную ошибку вы совершили, родившись во времена, подобные нашим!

– Но я не изменюсь, – заявила мисс Триплау.

– Я тоже, – поддержал ее Кэлами.

– И я, – эхом отозвалась миссис Олдуинкл, всегда готовая причислить себя к партии юности.

Она ощущала себя такой же молодой, как и они. Даже еще моложе. Ее собственная молодость пришлась на то время, когда моложе был и сам мир, но мысли и чувства формировались в безмятежном ограждении от житейских бурь – или, возможно, так и не сформировались вообще. Обстоятельства, насильственно принудившие повзрослеть более молодых людей, никак не затронули миссис Олдуинкл, и время отлило эту женщину в нынешнюю вполне определенную форму, которой уже не суждено было измениться.

– Я не представляю, что мог бы жить в более интересную эпоху, чем нынешняя, – заметил Кэлами. – Живу с ощущением зыбкости и непрочности всего: от наших общественных институтов до того, что мы привыкли считать незыблемыми научными истинами. С предчувствием, что в мире нет ничего навсегда устоявшегося – от Версальского договора до рационального объяснения происхождения вселенной. В твердом убеждении, что случиться может всякое и

будут совершены самые невероятные открытия – начнется ли новая война, научатся ли искусственно создавать живые организмы, докажут ли существование загробной жизни. Ожидание этого волнует меня и наполняет порой радостными предчувствиями.

– В том числе и вероятность того, что все подвергнется полному уничтожению? – поинтересовался мистер Кардан.

– И эта мысль тоже будоражит, – улыбнулся Кэлами.

– Вероятно, я покажусь излишне банальным, – сказал мистер Кардан, – но признаюсь, что предпочитаю более спокойную жизнь. И настаиваю на своем мнении, что вы совершили ошибку, войдя в эту жизнь так, что ваша юность совпала по времени с войной, а взросление происходит в условиях неустойчивого и неблагоприятного мира. Насколько же лучше распорядился своим существованием я сам! Мой приход пришелся на конец пятидесятых годов – то есть я почти близнец «Происхождения видов»... Воспитывался в простейшей вере девятнадцатого столетия, которую заменял всеобщий материализм. В вере, не отравленной сомнениями и не затронутой волнуемым современными умами научным модернизмом, превращающим в наши дни самых стойких математиков и физиков в сторонников мистицизма. Мы тогда были преисполнены оптимизма, верили в прогресс, как и в то, что любое явление в конечном счете будет объяснено с точки зрения физики и химии. Мы также верили мистеру Гладстону, утверждавшему наше моральное и интеллектуальное превосходство над минувшим веком. Неудивительно. Потому что мы с каждым днем делали богаче. «Низшие классы», которые дозволялось именовать этим восхитительным термином, еще не потеряли уважения к высшим, а перспектива любых революций казалась отдаленной. Верно, конечно, и то, что мы с беспокойством стали осознавать, на какое нищенское существование обречены эти самые низшие классы, а экономические законы не настолько неподвластны изменениям, как утверждал в своих приятных для чтения трудах историк Генри Бокль. И когда к нам в руки попадала очередная порция дивидендов, то, признаюсь, даже мы ощущали некое подобие укола общественной совести. Однако нам удавалось отлично справляться с любыми моральными муками, собирая по подписке пожертвования для обитателей трущоб или отдавая немного свободной наличности на постройку никому не нужных выложенных белым кафелем туалетов для рабочих. И эти отхожие места играли для нас ту же роль, что папские индульгенции для менее просвещенных современников Чосера. Отложив мелкую купюру на туалеты в карман жилетки, мы могли с

чистой совестью получать дивиденды в следующем квартале. Этим мы оправдывали даже свои маленькие шалости. А как мы шалили! Очень скрытно, разумеется. В те дни никто бы не решился творить публично то, что сейчас делаете вы. Но веселились мы от души. Мне вспоминается множество холостяцких ужинов с последующими вечеринками, где очаровательные юные создания появлялись, выпрыгивая из огромного торта, и начинали танцевать *pas seuls*[5 - Без всего (фр.)] прямо посреди посуды на столе.

Мистер Кардан покачал головой и замолчал, словно заново переживая экстаз воспоминаний.

– Звучит почти идил-лически, – заметила мисс Триплау, нарочито растягивая реплику. У нее была привычка смаковать особенно сочное или понравившееся ей слово, которое само просилось во фразу.

– Так оно и было, – с готовностью подтвердил мистер Кардан. – И особая прелесть заключалась в том, что это полностью противоречило всем правилам, принятым в те старые добрые времена, и в тщательных мерах предосторожности, какие приходилось принимать. Вероятно, это объясняется возрастом, с которым мой ум утратил прежнюю гибкость, как и мои артерии, но мне кажется, будто любовь перестала сегодня быть таким же волнующим чувством, каким являлась в годы моей молодости. Когда юбки достигают в длину пола, даже носок показавшейся вдруг туфельки уже выглядит обольстительно. А юбки в те времена скрывали абсолютно все. И в отсутствии реальной картины, при чрезмерной целомудренности поневоле начинало разыгрываться воображение. Сдержанность делала нас легко воспламеняющимися, как порох, и любой, самый ничтожный намек мог стать искрой. А сейчас, когда женщины ходят в подобии килтов и заголяют спины, как дикие лошади, столь пылкому возбуждению нет места. Карты выложены на стол, ничто не оставлено на долю фантазии. Все дозволено и потому скучно. Лицемерие, помимо того, что это дань, которую порок платит добродетели, одновременно и ловкий трюк, придающий пороку изрядную долю привлекательности. И между нами говоря, – сказал он, доверительно обращаясь ко всем присутствующим, – лично я не могу обойтись без подобного трюка. Кстати, по этому поводу есть любопытный пассаж в «Кухине Бетте» Бальзака. Вы помните сюжет?

– О, это просто чудо! – воскликнула миссис Олдуинкл с чрезмерным восторгом, который неизменно вызывал в ней всякий шедевр литературы или искусства.

– Фрагмент, где барон Юло подпадает под очарование мадам Марнефф. Постаревший красавец времен империи и молоденькая женщина, воспитанная на идеалах романтизма и в духе ранней викторианской добродетели. Ну-ка, попробую вспомнить. – Мистер Кардан задумчиво сдвинул брови, помолчал, а потом выдал несколько фраз на безукоризненном французском: – Как это умно, объемно и глубоко! – воскликнул он. – Я не могу лишь согласиться с определением в последней фразе. Потому что, если лицемерие лишь добавляет жара плотской любви и усиливает неудержимый поток ощущений, его нельзя считать умертвляющим галантность. Напротив, оно лишь украшает ее, возрождает, делает более привлекательной. Ханжество девятнадцатого столетия было важной составной частью литературного романтизма девятнадцатого века: неизбежной реакцией, как и то, что противилось избытку классицизма века восемнадцатого. Классицизм в литературе невыносим, он накладывает слишком много ограничительных рамок и так же недопустим в любви, поскольку там этих ограничений не хватает. Вот что роднит две сферы, несмотря на внешнее несходство, – и то и другое слишком обыденно, лишено эмоций. Лишь введя строгие правила, которые необходимо нарушать, только придавая почти сверхъестественную важность, можно сделать любовь по-настоящему волнующей и интересной. Ваш любовный альков должны окружать ангелы, философы и демоны, в противном случае в нем нечего делать умным мужчине и женщине. В эпоху классицизма вы почти ни у кого не найдете подобных персонажей, а в период неоклассицизма их и того меньше. Любовь описывается как нечто прямолинейное, прозаичное, заурядное и приземленное – хуже некуда. И отныне любить стало немногим более интересным занятием, чем поглощать пищу за ужином. Заметьте, не хочу принизить значения отменной трапезы, особенно в наши дни, но в годы молодости, – мистер Кардан вздохнул, – я даже хорошей еде не уделял столько внимания. Если же развивать тему дальше, то и с едой происходит то же самое – она лишается трепетного предвкушения, в ней не остается места поэзии. Отныне только в тех странах, где действуют мощные табу, удовлетворение голода может приобрести хоть какой-то романтический оттенок. Мне представляется, например, еврей эпохи Самуила, воспитанный в строгом религиозном духе, которого вдруг охватывает нестерпимое желание полакомиться омаром или мясом животного с раздвоенным копытом, но не жвачного. И вот, воображаю я, как он, сказав жене, что отправляется в синагогу, втайне уходит в некое злачное место, в недоброй славы дом, где набивает чрево свое свининой и омарами под майонезным соусом. Какая здесь заключена драма! Заметьте, я совершенно бескорыстно дарю вам еще один прекрасный сюжет.

– От всего сердца благодарю вас, – отозвалась мисс Триплау.

– А на следующее утро, промаявшись всю ночь в кошмарных снах, он встанет, полный решимости впредь соблюдать закон, сделается фарисеем из фарисеев, а потом отправит пожертвование в какое-нибудь общество защиты общественной морали и еще одно – в лигу противников омаров. Затем напишет статью в местную газету, призывая запретить молодым писателям публиковать книги, содержащие омерзительные сцены поедания ветчины, оргий с устрицами в рыбных лавках и прочих кулинарных извращений, о которых язык не повернется рассказывать. Ведь так он и поступит, согласны, мисс Мэри?

– Наверняка, – добавила мисс Триплау, забыв о взятой на себя роли старшеклассницы из монастырской школы. – Но вы должны упомянуть еще одно: он будет после этого особенно бдительно следить, чтобы его дочери выросли, даже не подозревая о существовании свиных сарделек.

– Точно! – воскликнул мистер Кардан. – Однако подведем черту. Все приведенные примеры имели целью показать, насколько увлекательным занятием может стать самая обычная еда, если привнести в нее элементы религии, если каждый ужин сделать таинством, а созывающий к нему звук гонга заставить будоражить воображение. Соответственно и любовь превращается в нуднейшее занятие, когда воспринимается буднично, как обычный ужин. Для мужчин и женщин в 1830 году, если они не хотели сдохнуть от скуки, насущной необходимостью стало придумать себе мученицу, святую, ангела, чтобы внушать им библейские заповеди, пока они увлеченно поддавались дьявольскому соблазну. Они стремились привнести нечто новое в любовь, которую их предшественники восемнадцатого столетия и периода империи превратили в нечто прозаическое. Возродили ханжество из чувства самосохранения. Но нынешнее поколение, устав от игр мадам Марнефф, вновь обратилось к имперским понятиям барона Юло... Никто не спорит, в какой-то мере эмансипация – штука замечательная. Но в результате она начинает противоречить собственным целям. Люди просят дать им свободу, но получают в результате одну лишь скуку. Те, для кого любовь стала такой же рутинной, как обычная еда, для кого в ней нет больше места для тайн, от которых краской заливаются щеки, для фигуры умолчания, для секретных уловок, кто оставил себе только откровенные разговоры об интимном и природную необходимость совокупляться – какой же тоской обернулась вся эта свобода для них! Вот почему необходимы кринолины, чтобы воспламенить воображение, и строгие, как драконы, дуэньи, чье навязчивое присутствие само по себе способно превратить простое желание во всепоглощающую страсть. Легкомысленная болтовня об эдиповом комплексе и анальной эротике уничтожает красоту любви.

Позвольте мне сделать пророческое заявление: через несколько лет вы, молодые люди, чтобы придать пикантности своим чувствам, снова начнете нашептывать друг другу на ушко высокие слова об ангелах, святых и вечности. Станете изнывать и томиться друг по другу. Но следствием этого явится более романтическое и острое чувство любви, нежели то, что принесла вам эмансипация.

Мистер Кардан сплюнул косточки последней виноградины, отодвинул от себя фруктовую тарелку, откинулся на спинку стула и огляделся с видом триумфатора.

– Как же плохо ты разбираешься в женщинах, – покачав головой, произнесла миссис Олдуинкл. – Как вы считаете, Мэри?

– По крайней мере в некоторых, – согласилась мисс Триплау. – Вы забыли, например, мистер Кардан, что Диана была таким же распространенным типом женщины, как и Венера.

– Вот именно, – сказала миссис Олдуинкл. – Коротко, но верно.

Восемнадцать лет назад они с мистером Карданом были любовниками. За ним последовал Эльзевир, пианист – недолгая связь, – после чего был лорд Трунион или доктор Лекоинг? – или оба одновременно? Миссис Олдуинкл не помнила. А когда она о них вспоминала, то совсем не так, как другие участники событий – тот же мистер Кардан. Теперь все это представлялось ей восхитительно романтическим, и она всегда выступала в роли Дианы.

– Но ведь я с вами согласен, – проговорил мистер Кардан, – и безусловно, верю в реальность существования Артемиды. Я мог бы даже доказать его вам эмпирически, если пожелаете.

– Было бы мило с твоей стороны, – усмехнулась миссис Олдуинкл, стараясь вложить в свои слова побольше сарказма.

– Единственной фигурой на Олимпе, которую я всегда считал чисто мифической, – продолжил мистер Кардан, – поскольку ее существование никак не оправдано с точки зрения житейской необходимости, это Афина. Богиня мудрости. Богиня! Вам не кажется это слегка надуманным?

Миссис Олдуинкл величаво поднялась из-за стола.

- Пойдемте в сад, - предложила она.

Глава IV

Миссис Олдуинкл купила даже звезды.

- Какие они яркие! - воскликнула она, выходя во главе небольшой группы гостей на террасу. - А как мерцают! Пульсируют! Словно живые. В Англии они никогда не бывают такими, не правда ли, Кэлами?

Тот согласился. Умение соглашаться, как он уже сообразил, сэкономило уйму усилий и было просто необходимым качеством для гостя этого идеального дома. Поэтому он всегда и во всем стремился соглашаться с миссис Олдуинкл.

- А как отчетливо видна Большая Медведица! - продолжила хозяйка, словно обращаясь непосредственно к небесам. Медведица и Орион были единственными созвездиями, которые она умела распознавать. - Необычное и красивое сочетание, верно?

Это прозвучало так, будто и расположение звезд стало шедевром архитектора дворца Маласпина.

- Очень необычное, - подтвердил Кэлами.

Миссис Олдуинкл низвела взор с зенита, повернулась и пронзила его улыбкой, забывая, что в глубокой безлунной темноте ее очарование не видно. Во тьме раздался голос мисс Триплау, которая говорила тихо и снова по-детски растягивала слова:

- Это словно итальянские теноры, заливающиеся страстными тремоло высоко в небе. С такими звездами над головой не приходится удивляться, что сама жизнь в этой стране немного напоминает нечто оперное.

– Не надо богохульствовать на эти звезды! – возмутилась миссис Олдуинкл. Но затем, вспомнив, что купила и итальянскую музыку, не говоря уже об обычаях и традициях всего итальянского народа, заметила: – Кроме того, шутливое сравнение с тенорами банально. В конце концов это единственная страна, где *bel canto* все еще... – Она взмахнула рукой. – Лучше вспомните, как сам Вагнер восхищался этим, как его...

– Беллини, – подсказала юная племянница. Ей уже доводилось слышать тетушкину фразу про восхищение Вагнера.

– Беллини, – повторила миссис Олдуинкл. – Кроме того, в итальянской жизни нет ничего оперного. Она исполнена подлинных высоких чувств.

Мисс Триплау даже не сразу нашлась, что ответить. У нее был несомненный талант к подобным невинным шуткам, но в то же время она боялась, что люди сочтут ее просто умной, однако бесчувственной, блестящей и слишком жесткой молодой женщиной. С полдюжины метких острот были, конечно, допустимы, а потом ей нельзя забывать, что в основе своей она простодушна, схожа с героинями Вордсворта – просто фиалка, растущая рядом с покрытым мхом камнем. А особенно нынешним вечером, в этой своей шали.

Как бы нам ни хотелось этого, как бы высоко мы ни оценивали свои способности, все-таки считается признаком дурного вкуса похваться собственным умом. Но в том, что касается достоинств душевных, подобная стеснительность нам не свойственна; а потому мы открыто рассказываем о доброте, граничащей со слабостью, о щедрости, граничащей с безрассудством (но при этом умеряем свое хвастовство, чтобы чрезмерность данных качеств характера не переросла для сторонних наблюдателей в его дефекты). Однако мисс Триплау принадлежала к редкому типу людей, настолько очевидно и несомненно умных, что ни у кого не вызвало бы раздражения, если бы она показывала это так часто, как ей хотелось. Окружающие восприняли бы это всего лишь адекватной самооценкой личности. Но вот сама мисс Триплау испытывала противоестественное желание, чтобы ее ценили в первую очередь не за ум, и не стремилась выпячивать свое достоинство. Ее гораздо больше волновало, поймут ли в этом мире, насколько она сердечная натура. А потому стоило ей поддаться своей природной склонности к остроловию, увлечься желанием соответствовать уровню красноречия компании, когда она произносила нечто, противоречившее в своем блеске простоте и гармоничной искренности ее предполагаемых эмоций, как она

спохватывалась и торопилась исправить неверное впечатление о себе, угрожавшее сложиться среди слушателей. Сейчас мисс Триплау нашла ремарку, которая идеальным образом сочетала подлинное понимание красоты природы с элегантной и не всем доступной аллюзией. Последнюю она адресовала главным образом мистеру Кардану, в ком видела образованнейшего человека старой школы, умевшего ценить и восхищаться интеллектом других.

– О, Беллини! – взволнованно воскликнула мисс Триплау, едва миссис Олдуинкл успела закончить последнюю фразу. – Каким он обладал потрясающим даром мелодиста! – И тонким голоском она пропела первую длинную музыкальную фразу. – Какому прелестному изгибу следует здесь мелодия! Это почти как линия вон тех холмов на фоне неба.

На дальнем краю долины, к западу от горы, на которой стоял дворец, протянулась более высокая и длинная гряда. С террасы открывался вид снизу вверх на эту нависавшую над долиной громаду. Именно туда указала мисс Триплау.

– Сама природа Италии – произведение искусства, – добавила она.

– Верное замечание, – улыбнулась миссис Олдуинкл, потом сделала первый шаг, начав вечерний променада вдоль террасы.

Шлейф бархатного платья волочился за ней по пыльным каменным плитам. Но миссис Олдуинкл не беспокоило, что он собирает грязь. Важен был лишь общий производимый ею эффект. Пятна, пыль, мелкие веточки и гусеницы – несущественные мелочи. Она вообще была склонна относиться к своей одежде с утонченной аристократической небрежностью. Присутствующие последовали за ней.

Луна так и не показалась, только звезды светились на темно-синем небосводе. Черные и плоские на фоне неба Геркулесы и согбенные Атласы, Дианы в коротких юбочках и Венеры, прикрывавшие свои прелести вызывающе соблазнительными жестами обеих рук, выстроились, словно окаменевшие танцоры, вдоль всей балюстрады. Между ними тоже проглядывали звезды. Внизу, в темной долине, сияли крупные созвездия желтых огней городка. Беспрестанное кваканье лягушек; этот тонкий, отдаленный, но очень отчетливый звук поднимался из каких-то невидимых водоемов.

– В такие вечера, – сказала миссис Олдуинкл, останавливаясь и обращаясь к Кэлами, – начинаешь по-настоящему понимать, что такое подлинная южная страсть.

У нее выработалась пугающая привычка. Когда она начинала говорить с кем-то в отдельности и на серьезную тему, то приближала свое лицо почти вплотную к лицу собеседника, открывая глаза во всю ширь и на секунду концентрируя взгляд, как окулист, осматривающий пациента.

Подобно вагонам, прицепленным за локомотивом, машинист которого внезапно включил тормоза, гости миссис Олдуинкл остановились, натыкаясь друг на друга.

Кэлами закивал.

– Верно, – произнес он. – Очень тонко подмечено.

Даже при скудном свете звезд, заметил он, глаза миссис Олдуинкл угрожающе блестели на ее приблизившемся лице.

– В эту ужасную буржуазную эпоху, – в словарном запасе миссис Олдуинкл (как и у мистера Фэлкса, хотя по другим причинам) не было более пренебрежительного определения, чем «буржуазный», – только южные народы понимают, что такое подлинная страсти, и даже способны поддаваться им.

Сама миссис Олдуинкл, разумеется, понимала, что такое страсть.

– Вы совершенно правы, – проговорил мистер Кардан. – Все дело, разумеется, в климате. Жара оказывает на местных жителей двойное воздействие, прямое и косвенное. Прямой эффект не нуждается в объяснениях: теплота порождает теплоту. Это очевидно. Но и побочное воздействие не менее важно. В жарких странах люди не склонны трудиться слишком усердно. Человек работает ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни, и возводит в культ время отдохновения. И не менее очевидно, чем может заняться человек, если он не философ, в свободное время – любовью. Ни у одного серьезного и трудолюбивого мужчины не оставалось бы ни времени, ни энергии, ни особого желания все забыть и предаться страсти. Она расцветает только среди хорошо накормленных безработных. А потому, если не брать в расчет людей из

привилегированного сословия, располагающего досугом, то любовная страсть во всех своих роскошных хитросплетениях едва ли доступна труженикам севера. И только среди тех, кто обладает склонностью к ней и чья природная леность лишь поощряется щедрым южным солнцем, страсть всегда цвела пышным цветом, и, как вы справедливо заметили, дорогая Лилиан, продолжает цвести даже в эту обывательскую эпоху.

Мистер Кардан едва лишь начал свою речь, когда миссис Олдуинкл возмущенно двинулась дальше. Он оскорблял ее в лучших чувствах. Впрочем, мистер Кардан продолжал развивать свои мысли, когда они миновали силуэты скромницы Венеры, Дианы с верным псом у ног, опиравшегося на свою дубину Геркулеса, Атласа, горбившегося под тяжестью земного шара, и Бахуса, воздевшего к небу обломок руки, в отсутствовавшей части которой он когда-то держал кубок с вином. Добравшись до конца террасы, они развернулись и пошли обратно мимо того же ряда символических персонажей.

– Подобные рассуждения легко даются, – заметила миссис Олдуинкл, – но только они не умаляют величия страсти, ее чистоты, и красоты, и...

– А разве не богослов Боссюэ сказал, что страсть есть нечто, не имеющее пределов? – произнесла Ирэн.

– Великолепно, Ирэн! – воскликнул мистер Кардан.

Та залилась краской, что осталось не замеченным в темноте.

– Но я действительно считаю, что Боссюэ был совершенно прав, – заявила она.

Даже краснея, Ирэн могла превращаться в настоящую львицу, когда возникала необходимость поддержать тетю Лилиан.

– Полагаю, что он абсолютно прав, – сказала она после нескольких мгновений, пока переживала воспоминания из собственного жизненного опыта.

Она сама очень хорошо прочувствовала эту беспредельность, поскольку в разное время Ирэн, как она считала, успела предаться страстям. «Не представляю, – говаривала тетя Лилиан, когда Ирэн вечерами приходила в ее комнату, чтобы

расчесать ей волосы перед сном, – как ты до сих пор не влюбилась в Петера, или Жака, или Марио (имена могли меняться, поскольку миссис Олдуинкл и ее племянница совершали длительные ежегодные турне по всей Европе). – Будь я в твоём возрасте, непременно увлеклась бы им». И, начав после этого всерьёз думать о Петере, Жаке или Марио, Ирэн обнаруживала, что тетя наблюдательна. Упомянутый молодой человек действительно оказывался чудесным. И остаток времени, что они проводили в отелях «Континенталь», «Бристоль» или «Савой», она была влюблена, причем страстно. И чувства ее тогда оказывались беспредельными. Вот почему для нее не подлежало сомнению, что Боссюэ хорошо знал, о чем говорил.

– Что ж, если даже вы, Ирэн, считаете, что он был прав, – проговорил мистер Кардан, – тогда мне остается лишь признать свое поражение в споре. Я вынужден склониться перед подлинным знатоком вопроса. – Он вынул изо рта сигару и низко поклонился.

Ирэн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки.

– Вы просто решили посмеяться надо мной, – промолвила она.

Миссис Олдуинкл покровительственным жестом обняла девушку за плечи.

– Я не позволю вам дразнить ее, Кардан, – предупредила она. – Ирэн – единственная среди вас всех, кто по-настоящему способен оценить благородство, красоту и величие.

Она привлекла племянницу еще ближе к себе, изобразив неловкие объятия. Но Ирэн ответила на них, счастливая и преданная. Тетушка Лилиан была для нее неподражаема!

– О, я знаю свое место, – сказал мистер Кардан извиняющимся тоном. – Я всего лишь козлоногий старик, не более.

Между тем лорд Ховенден, громко бормоча что-то себе под нос, шел чуть в стороне от остальной компании, достаточно ясно, как он надеялся, демонстрируя всем, что занят собственными мыслями и не слушает их. Но сказанное все же привело его в смущение. Откуда Ирэн могла столько знать о страсти? Неужели были... Неужели до сих пор есть другие мужчины?

Болезненный вопрос навязчиво лез в голову. Решив отделить себя от присутствующих и их разговоров, он обратился к мистеру Фэлксу.

– Скажите, мистер Фэлкс, – спросил он таким тоном, словно размышлял над этой проблемой достаточно долго, прежде чем задать вопрос, каково ваше мнение о фашистских профсоюзах?

Тот охотно пустился в разъяснения.

Страсть, думал Кэлами, страсть... Даже ею можно пресытиться! Он вздохнул. Если бы только сказать себе: «Все! Никогда больше!» – и сдержать обещание. Это бы принесло огромное облегчение и успокоение. Но вот ведь проклятие! – было нечто неизъяснимо и извращенно привлекательное для него в этой Триплау.

А мисс Триплау как раз очень хотелось самой вставить реплику, чтобы показать свое отношение к страсти, веру в нее, но только не в ту страсть, какой ее представляла миссис Олдуинкл; в естественную, спонтанную, почти детскую страсть, а не в то пышное тепличное экзотическое растение, которое распускалось в гостиных. Кардан, конечно, прав, не воспринимая всего этого всерьез. Но едва ли он мог много знать и о той простой невинной любви, какую имела в виду мисс Триплау. Как ничего не знала о ней и миссис Олдуинкл, если на то пошло. Зато она сама хорошо разбиралась в этом. Но все же мисс Триплау пришла к выводу, что тонкая паутинка страстей была слишком нежной и деликатной материей, чтобы заводить разговор о ней сейчас среди слушателей, не готовых к правильному восприятию ее понятий.

Небрежным жестом она сорвала листок с одного из нависавших над ними деревьев и рассеянно растерла его пальцами. И постепенно ее носа достиг аромат уничтоженного ею листа. Мисс Триплау поднесла ладонь к лицу, принюхалась. И внезапно перенеслась к парикмахеру в Уэлтингэме, где когда-то ждала, пока делали стрижку ее кузену Джиму. Мистер Чигуэлл, парикмахер, закончил работать вращающейся щеткой. Вал машинки продолжал крутиться, эластичный резиновый привод совершал обороты в колесе, покачиваясь из стороны в сторону как умирающая змея, подвешенная в опасной близости над коротковолосой теперь головой Джима.

– Немного бриллиантина, мистер Триплау? Ваши волосы суховаты. Или, как всегда, лавровишневый лосьон?

– Давайте лосьон, – грубовато ответил Джим.

И мистер Чигуэлл, взяв пульверизатор, окутал голову Джима облаком, получившимся из полупрозрачной коричневой жидкости во флаконе. Воздух в парикмахерской моментально пропитался ароматом, что и лист с древа Аполлона, остатки которого она держала в руке. Все это происходило много лет назад, и Джима уже не было в живых. Они любили друг друга по-детски, с глубокой и тонкой страстью, о которой она не могла говорить. По крайней мере не здесь и не сейчас.

Остальные же говорили не переставая. Мисс Триплау продолжала приноживаться к сломанному, скомканному лавровому листу и размышлять о своих девичьих годах, об умершем двоюродном брате. «Милый, мой милый Джим, – мысленно повторяла она. – Мой дорогой Джим!» Как же сильно она любила его, как горевала, когда он умер. И это до сих пор причиняло страдания, хотя минуло много лет. Мисс Триплау вздохнула. Она гордилась своей способностью к сильному страданию, даже готова была усугубить его. Внезапное воспоминание о Джиме в парикмахерской, живая память о нем, навеянная запахом сорванного листа, служили доказательствами ее исключительной чувствительности. Поэтому к горю примешивалось и удовлетворение. Ведь это случилось спонтанно, почти само собой. Мисс Триплау всегда говорила, что у нее чувствительное сердце, способное на глубокие эмоции. Это могло служить подтверждением ее слов. Никто не догадывался, как она страдала. Откуда людям знать, что таится под ее внешней жизнерадостностью? «Чем ты чувствительнее, – говорила она себе, – чем более смиренна и чиста, тем важнее для тебя носить маску». Ее смех и шутки как раз и являлись такой маской, скрывавшей от внешнего мира все, что творилось в душе. Они стали броней против праздного и навязчивого любопытства посторонних. Как могли они догадываться, например, сколь много значил для нее Джим, как важен был и сейчас его образ – пусть минуло немало лет? Разве под силу их воображению представить, что в ее сердце до сих пор сохранялся уголок, святая святых, в которой она и сейчас могла поддерживать духовную связь с ним? Милый Джим, милый, милый Джим... На глаза навернулись слезы. Пальцами, все еще пахнувшими лавром, мисс Триплау смахнула их.

Внезапно она сообразила, что из этого может получиться потрясающий рассказ. В нем будут юноша и девушка, прогуливающиеся под звездным небом – под огромными итальянскими звездами, вибрирующими как тремоло тенора (не забыть включить в текст данную деталь), на фоне черного бархата неба. Между ними происходит разговор, тема все ближе и ближе к любви. Молодой человек по натуре робок (мисс Триплау решила дать ему имя Белами). Он один из тех славных и очаровательных юношей, которые начинают с обожания на расстоянии, считая, что девушка слишком хороша для него. Не осмеливаются надеяться, что такое божество может снизойти до него. Он и потом боится признаться в любви, опасаясь, что его с позором отвергнут. Но она, конечно, тоже влюблена в него, и зовут ее Эдна. Она – деликатная и чувствительная, скромность и неуверенность в себе придают ей особое очарование.

Они вот-вот затронут тему любви; звезды трепещут все сильнее, словно в предчувствии экстаза. Проходя мимо лавра, Эдна случайно срывает один из его пахучих листьев. «Самое чудесное в любви, – начинает молодой человек (он заранее подготовил монолог и полчаса набирался отваги, чтобы произнести его), – а я имею в виду только подлинную любовь, полнейшее понимание друг друга, слияние душ, забвение собственного „Я“ для того, чтобы стать единым целым с кем-то еще...» Но, приняв лавровый лист, она внезапно и невольно вскрикивает (импульсивность – часть обольстительности в личности Эдны): «Боже мой! Да это же парикмахерская в Уэлтингэме! И смешной маленький мистер Чигуэлл с его косоглазием! И резиновая лента, крутящаяся на колесе, извиваясь змеей». Этим она, конечно же, повергает бедного юного Белами в замешательство. Он расстроится. Если она так реагирует, стоит ли ему говорить о любви, не лучше ли промолчать?

Наступает продолжительная пауза, а потом он пускается в рассуждения о Карле Марксе. А она никак не может ему объяснить – попадает в какой-то психологический тупик, – что парикмахерская в Уэлтингэме – символ ее детства, а запах измятого листа лавра вернул ей воспоминание о покойном брате (в рассказе он будет ее родным братом). Ей попросту не под силу растолковать ему, что ее грубое вмешательство в его трогательную речь было вызвано внезапной вспышкой в памяти. Она очень хотела бы, но не может заставить себя даже начать. Слишком уж все сложно, смутно, чтобы выразить словами, и если твое сердце настолько ранимо, как можешь ты полностью обнажить его и показать кровоточащую рану? И кроме того, он должен был сам каким-то образом догадаться, любить ее до такой степени, чтобы суметь понять все; хотя бы то, что у нее есть гордость. Объяснение делается невозможным. А он жалким и невыразительным тоном продолжает твердить про Карла Маркса. И внезапно

ее словно прорывает: она начинает рыдать и смеяться одновременно.

Глава V

Черный силуэт, который на террасе лишь поверхностно воплощал в себе фигуру мистера Кардана, трансформировался в полного энергии и источавшего добродушие мужчину, стоило ему войти в залитый светом зал. Его красноватое лицо поблескивало, он улыбался.

– Я хорошо знаю Лилиан, – говорил мистер Кардан на ходу. – Она теперь будет часами сидеть там под звездами, проникаясь романтикой момента, но замерзая все сильнее и сильнее. И с этим ничего не поделаешь, уверяю вас. Хотя завтра ее прихватит приступ ревматизма. Но нам с вами ничего не останется, кроме как устраниваться и постараться молчаливо сносить ее страдания. – Он уселся в кресло напротив огромного, но пустого камина. – Вот так намного лучше.

Кэлами и мисс Триплау последовали его примеру.

– А вам не кажется, что мне следовало хотя бы предложить ей свою шаль? – после паузы спросила мисс Триплау.

– Этим вы только вызовете ее раздражение, – ответил мистер Кардан. – Если Лилиан сказала, что сейчас достаточно тепло, значит, действительно тепло. Мы уже выставили себя дураками в ее глазах, пожелав вернуться в дом. А если принесем шаль, то получится грубо и бестактно. Мы словно уличим ее во лжи. «Дражайшая Лилиан, на улице вовсе не тепло. И, утверждая обратное, ты несешь чепуху. Вот почему мы принесли тебе шаль». Нет-нет, мисс Мэри. Вы наверняка понимаете, что этот номер не пройдет.

Мисс Триплау кивнула.

– Дипломатично! – заметила она. – Но вы, разумеется, правы. Мы все дети в сравнении с вами, мистер Кардан. Вот такого росточка. – Она совершенно произвольно, хотя это и была часть роли ребенка, обозначила ладонью высоту в пару футов от пола. И столь же по-детски улыбнулась ему.

– Нет, всего лишь вот такого, – с иронией произнес мистер Кардан, поднес правую руку на уровень глаз и показал между большим и указательным пальцами расстояние примерно в полтора дюйма. А потом посмотрел на нее в эту щелку и подмигнул.

– Но мне доводилось встречать детей, – продолжил он, – рядом с которыми мисс Триплау...

Он воздел руки вверх, а затем позволил им спуститься на свои бедра.

Мисс Триплау не понравилось, насколько откровенно ей отказывали в ребяческой простоте. Словно сбросили с небес на землю. Вот только обстоятельства не позволяли отстаивать свою точку зрения именно в присутствии мистера Кардана. Слишком уж не располагала к этому странная история их знакомства. При первой же встрече мистер Кардан сразу (хотя, как утверждала мисс Триплау, совершенно необоснованно) стал относиться к ней с дьявольской откровенностью и цинизмом, зачислив в категорию «современных», лишенных всяких предрассудков молодых женщин, которые не только поступали, как хотели, но и открыто рассказывали о своих похождениях. И в своем желании доставить удовольствие новому знакомому, слишком увлеченная свойственной ей способностью легко приспосабливаться к любой моральной атмосфере, мисс Триплау непринужденно стала играть навязанную ей роль. И как блистательно она играла! Как порой бывала очаровательно смела и порочна в речах! Но лишь до тех пор, когда однажды, не переставая весело подмигивать ей, мистер Кардан подвел разговор с ней к такой неслыханно опасной грани, что мисс Триплау поняла: она поставила себя в двусмысленное положение. Одному Богу было известно, куда это могло завести ее дальше в общении с подобными мужчинами. И потому едва заметными маневрами мисс Триплау превратила себя из саламандры, весело пляшущей среди языков пламени, в нежную примулу, цветущую на берегу лесного ручья. Она входила теперь в этот образ при каждом разговоре с мистером Карданом – образ женщины-литератора, культурной и образованной, но не испорченной жизнью. Со своей стороны, с тем тактом, который отличал его во всех ситуациях, мистер Кардан принял ее новый облик, ничем не выдав удивления подобной метаморфозой. Единственное, что он потом позволял себе, так это неожиданно подмигнуть ей или многозначительно улыбнуться. Мисс Триплау неизменно делала в таких случаях вид, будто ничего не замечает. В сложившихся обстоятельствах ей ничего иного не оставалось.

– Многие почему-то считают, – сказала мисс Триплау со вздохом мученицы, – что образованная женщина непременно многоопытна. Но хуже всего то, что люди не способны так же ценить добрую душу, как умную голову.

А ведь она обладала именно такой доброй душой. Умным может стать любой, твердила она. Но ведь гораздо важнее быть порядочным и милосердным, питать только чистые и благородные чувства. Ее необычайно порадовал эпизод с листком лавра. Вот в чем и заключалось благородство чувств.

– Читатели почти всегда неправильно понимают смысл написанного автором, – продолжила мисс Триплау. – Им нравятся мои книги, потому что они умны, сюжетные ходы неожиданны и часто парадоксальны, а герои циничны и зачастую жестоки при всей своей элегантности. Они не видят, насколько у меня все серьезно. Не умеют разглядеть подлинной трагедии и нежности, скрывающейся в глубинах повествования. Я стараюсь создать нечто новое, вызвать необычную реакцию, смешивая не сочетаемые, казалось бы, химические компоненты. Легкость и трагизм, очарование и остроумие, фантазия и реализм, ирония и наивная чувствительность – все в одной формуле. Но людям это кажется всего лишь забавным, не более. – Она горестно всплеснула руками.

– Но это же вполне ожидаемо, – заметил мистер Кардан. – Любой, кому действительно есть что сказать, неизбежно наткнется на стену непонимания. Публика воспринимает лишь то, что ей хорошо знакомо. А среди чего-то нового теряет ориентиры. И подумайте, как часто не понимают друг друга даже умные и знакомые между собой люди! Вам когда-нибудь доводилось вести переписку с возлюбленным, жившим вдалеке от вас?

Мисс Триплау чуть заметно кивнула; ей этот мучительный процесс был хорошо знаком.

– Тогда вам понятно, с какой легкостью тот, кому вы писали, мог принять ваше случайное, мимолетное настроение за постоянное расположение духа, не покидающее вас никогда. Вас ни разу не удивляло ответное письмо, исполненное радости по поводу ваших успехов, тогда как на самом деле вы уже были погружены в глубокое уныние от неудач? Вас ни разу не изумляла ситуация, когда, весело насвистывая, спустившись к завтраку, вы находили рядом со своей тарелкой эпистолу на шестнадцать страниц с выражениями сочувствия и сострадания? И неужели на вашу долю не выпадало несчастье быть любимой кем-то, к кому вы сами не чувствовали ни малейшей любви? И если

выпадало, то вы прекрасно знаете, как слова, написанные со слезами на глазах, от всего сердца, из глубины души, вам кажутся не только глупыми и неуместными, но и проявлением дурного вкуса. Вульгарными, как тексты жалких писем, что порой зачитывают в судах во время бракоразводных процессов. А ведь к вам пишут в абсолютно тех же выражениях, какие обычно используете вы, обращаясь к тому, в кого влюблены. Так же читатель, чье настроение не совпадет с настроением, с которым автор создал книгу, будет скучать над страницами, рожденными в порыве вдохновения и с величайшим энтузиазмом. Или же он, уподобляясь удаленному от вас получателю писем, ухватится в тексте за то, что вам представляется несущественным, но именно в этом будет видеть основной смысл и стержень вашего произведения. А вы только что признали, что усложняете восприятие своих книг для читательской аудитории. Пишете сентиментальную трагедию под покровом сатиры. Вот читатель только сатиру и видит. Неужели для вас это неожиданность?

– В этой теории заключена, конечно, доля истины, – произнесла мисс Триплау.

– И вы должны помнить, – продолжил мистер Кардан, – что большинство читателей на самом деле вовсе не читают. Если примете во внимание, что страницы, которые стоили вам неделю непрерывного и тяжелого труда, бегло читаются в течение нескольких минут или вовсе пропускаются, то вас перестанет удивлять возникающее непонимание между автором и читателем. Мы читаем только глазами, не включая воображения; не даем себе труда преобразовывать в уме печатное слово в живой образ. Но поступаем мы так исключительно в целях самозащиты. Мы прочитываем огромное количество слов, однако девятьсот девяносто из каждой тысячи не стоят внимания, и с ними так и следует обходиться, то есть просматривать поверхностно. Необходимость пролистывать огромное количество ерунды приучает нас небрежно относиться ко всему, что читаем, даже к действительно хорошим книгам. Поэтому вы можете вкладывать душу в свое творчество, мисс Мэри, но из каждой тысячи ваших поклонников, сколько, по-вашему, тратят хоть какие-то умственные усилия, читая ваши творения? И под словом «читая», я имею в виду настоящее чтение. Так сколько?

– Кто знает? – отозвалась мисс Триплау. Ведь даже если они читают по-настоящему, многие ли способны уловить суть?

– Мания идти в ногу со временем, – сказал мистер Кардан, – убила искусство настоящего чтения. Большинство людей выписывают три или четыре

ежедневных газеты, с субботы по понедельник просматривают полдюжины еженедельников, а в конце каждого месяца и дюжину журналов. В остальное время, если использовать библейское определение, они предаются блуду с новыми романами, пьесами, стихами и биографиями. У них попросту нет времени на нечто большее, нежели поверхностное ознакомление с литературой. Если вам угодно все усложнять и создавать трагедии под маской фарса, то путаница неизбежна. Книги имеют свои судьбы, как и люди. И их судьбы, определяемые многими поколениями читателей, зачастую сильно отличаются от тех, что были предначертаны им авторами. «Путешествия Гулливера» с незначительными изъятиями превратились в детскую книжку, новое иллюстрированное издание печатают к каждому Рождеству. Вот что получается из попыток высказать глубочайшие мысли о человеческой природе в форме сказки. Публикации «Пуританской лиги» почти неизменно фигурируют в каталогах книготорговцев под рубрикой «Это любопытно». Богословская, а для самого Мильтона – фундаментальная и важнейшая составляющая «Потерянного рая» воспринимается ныне настолько несерьезно, что вообще остается незамеченной. Когда кто-нибудь упоминает о Мильтоне, какие ассоциации всплывают первыми в нашем сознании? Мы думаем о нем как о великом религиозном поэте? Нет. Мильтон стал для нас набором отдельных цитат, ослепительно ярких, пестрых, исполненных громогласной гармонии – хоть пустейший мюзикл создавай на его основе! Порой шедевры литературы для взрослых одного поколения уже для следующего становятся предметом изучения школьников. Разве читает в наши дни тот, кому исполнилось шестнадцать, стихи сэра Вальтера Скотта? Или его романы? Сколько произведений, исполненных благочестия и высокой морали, выжили только потому, что хорошо написаны! И представьте, каким шоком это стало бы для авторов, узнай они, что в будущем их труды будут ценить за одни лишь эстетические достоинства? Если подводить итог сказанному, именно читатели определяют, какое место в литературе займет та или иная книга. Это неизбежно, мисс Мэри. И вы должны смириться с фактами.

– Да, вероятно, – произнесла она.

– Лично мне не совсем понятны ваши жалобы на непонимание, – с улыбкой заметил Кэлами. – С моей точки зрения, было бы неприятнее, если бы вас слишком хорошо понимали. Вас, конечно, могут возмущать недоумки, не способные постичь то, что представляется очевидным; тщеславие автора может страдать от того, каким они воспринимают его, уподобляя в вульгарности самим себе. Вы даже можете считать, что не состоялись как художник, поскольку не сумели сделать свои произведения ясными до прозрачности. Но все это ничто в сравнении с ужасом быть понятой до конца, до донышка! Вы выложились

полностью напоказ, с вами все ясно, и отныне вы зависите от благосклонности каких-то людишек, кому открыли всю душу. На вашем месте я бы, напротив, радовался и поздравлял себя с успехом. У вас есть своя аудитория, ей нравятся ваши книги, пусть и по неверным, как вам представляется, причинам. Но как раз это и обеспечивает вашу безопасность, не дает им дотянуться до вас, позволяет сохранить себя нетронутой.

– Вероятно, вы правы, – сказала мисс Триплау.

Но мистер Кардан понял ее гораздо лучше. Не совсем реальную и не самую главную часть, это верно, но приходилось признать, что и немалую. Ничего хорошего она в этом не видела.

Глава VI

Почти все мы обречены на болезненную необходимость буквально разрываться, чтобы сохранить лояльность к несовместимым друг с другом вещам. Нас тянут в разные стороны дьявол и Бог, плоть и дух, любовь и долг, здравый смысл и освященные древними традициями предубеждения. Подобные конфликты лежат в основе каждой драмы. Мы приобрели отвращение к зрелищу корриды, казни или гладиаторского поединка, однако не можем удержаться от удовольствия исподтишка понаблюдать за теми, кто бьется в судорогах нравственных мучений. В отдаленном будущем, когда общество примет рациональные формы и каждый индивидуум займет в нем отведенное ему место, выполняя посильный для себя труд, когда система образования перестанет насаждать в молодых умах нелепые предрассудки вместо истины, когда поджелудочную железу научат гармонично функционировать, как ей и положено, а все недуги будут побеждены, наша нынешняя литература, построенная на конфликтах и человеческих бедах, покажется нам до странности непостижимой. А наш вкус к зрелищу чужих душевных мук сочтут омерзительным извращением, какого должен стыдиться любой нормальный человек. И вот когда радость заменит несчастье как основная тема искусства, может случиться так, что и само искусство перестанет существовать вообще. У нас часто говорят, что у счастливого народа нет прошлого. Позже мы, возможно, присовокупим к этому, что счастливые люди не создают литературы. Ведь современный романист отмечает в сторону и в одном абзаце описывает предыдущие двадцать лет

благополучия своего героя, зато неделю глубокой скорби и нравственных терзаний растягивает на двадцать глав. Когда для скорби не останется в жизни места, нам попросту не о чем станет писать. Наверное, так будет лучше для нас всех.

Внутренний конфликт, который разрывал душу Ирэн последние месяцы, хотя и не достигал остроты и серьезности духовной борьбы истинных героев, стремящихся найти способ сохранить свою человеческую сущность и целостность, оставался тем не менее мучительным. Вопрос стоял так: должна она заниматься живописью и литературным трудом или шить нижнее белье, следуя собственным идеям?

Если бы не тетушка Лилиан, конфликт никогда бы не вылился в столь серьезную форму. Скорее всего никакого конфликта не возникло бы вообще. Поскольку лишь вмешательство тетушки Лилиан не давало Ирэн предаться своей естественной женской склонности и проводить дни в полном довольстве собой среди кружевных оборок и прочих деталей придуманных ею моделей белья. Однако тетушка Лилиан была горячей сторонницей именно неестественно женского начала в племяннице. Это она вызвала к жизни идею писательства и занятий живописью, обнаружила в Ирэн таланты к высокому творчеству, противопоставив их более скромному, но реальному дарованию.

Увлеченность миссис Олдуинкл искусствами доходила до того, что ей хотелось вдохновить каждого на занятия ими в той или иной форме. К ее величайшему сожалению, сама она не обладала никакими художественными способностями. Природа не наделила миссис Олдуинкл силой самовыражения; даже в обыкновенной беседе она порой затруднялась облечь в словесную форму то, что хотела сказать. Ее письма обычно состояли из набора фрагментов предложений. Создавалось впечатление, будто ее мысли разорвала на грамматически неравные части какая-то бомба и раскидала их по странице. Странная нескладность рук в сочетании с природной нетерпеливостью не позволяла ей не только рисовать, но даже ровно шить. И хотя она слушала музыку с выражением благоговейного восторга, отсутствие слуха не позволяло ей отличить большую терцию от малой. «Я принадлежу к числу тех несчастных, – повторяла она, – кто наделен артистическим темпераментом, но лишен дара к творчеству». И ей приходилось довольствоваться тем, чтобы культивировать в себе этот самый темперамент и помогать раскрываться талантам других. Среди знакомых миссис Олдуинкл не было ни одного человека, кого бы она не попыталась заставить стать художником, прозаиком, поэтом или музыкантом. Поэтому она убеждала

Ирэн, что ее умение ловко обращаться с кисточками из верблюжьей шерсти являлось истинным талантом, а ее удивительно интересные письма свидетельствовали о способности писать стихи. «Как ты можешь растрчивать свое время на подобные пустяки и глупости?» – восклицала она всякий раз, заставая Ирэн за кройкой оригинального нижнего белья. И тогда племянница, обожавшая свою тетю Лилиан с собачьей преданностью, откладывала шитье и пыталась писать акварелью портреты или в рифмованных строчках отображать красоту пейзажа и цветов в саду. Но нижнее белье тем не менее постоянно манило. Ирэн казалось, будто тамбурные швы удавались ей гораздо лучше картин, а обметка петель для пуговиц доставляла больше удовольствия, чем сочинение стихотворений. И еще она часто задавалась вопросом: разве хорошая ночная сорочка не более полезна, чем любые акварели? Разумеется, полезнее. А ведь она, кроме того, была особо чувствительна к тому, что носила поверх своей кожи, и обожала красивые вещи. Как и сама тетя Лилиан, которая первой поднимала племянницу на смех, если та надевала что-то плохо сшитое или вышедшее из моды. Однако тетя Лилиан не слишком щедро давала ей деньги на карманные расходы. А за тридцать шиллингов Ирэн могла сама сшить себе туалет, который в магазине готового платья обошелся бы в пять или даже шесть гиней...

В общем, нижнее белье превратилось для Ирэн в подлинную страсть, тайную любовь и причину непослушания, а поэзия и акварели, которыми она занималась лишь из-за глубочайшего восхищения тетушкой Лилиан, стали сферой чистой духовности, почетным долгом и почти религиозными обрядами. Борьба между естественными желаниями и тем, что считала необходимым для нее тетя Лилиан, была продолжительной и удручающей.

Но в такие вечера, как сегодня, естественное женское начало исчезало в Ирэн бесследно. Под звездами, в исполненной торжественного величия темноте разве можно было думать о нижнем белье? Да и тетя Лилиан прониклась особенной нежностью. Хотя все-таки становилось холодновато.

– Искусство – великая вещь, – с серьезным видом вещала миссис Олдуинкл. – Ради него одного следует жить. Только оно способно послужить оправданием человеческому существованию.

Когда мистера Кардана не было рядом, она позволяла себе рассуждать на излюбленную тему с большей уверенностью. И Ирэн, сидевшая в ее ногах, прислонившись к коленям, помимо воли соглашалась во всем. Миссис Олдуинкл

то приглаживала мягкие волосы девушки, то, наоборот, растопырив пальцы расческой, взлохмачивала их. Ирэн смежила веки. Совершенно счастливая, немного сонная, она внимала. Речи миссис Олдуинкл доносились до нее обрывками – часть фразы сейчас, еще одна чуть позже.

– Бескорыстие, – повторяла она. – Бескорыстие...

Миссис Олдуинкл давно обнаружила для себя этот способ выразить какую-то овладевшую ею идею, повторяя несколько раз одно слово:

– Бескорыстие...

И тогда ей уже не нужно было подбирать фразы, которые не приходили в голову, чтобы исчерпывающе объяснить смысл мысли, зная, что все равно получится невразумительно.

– Радость от самой по себе работы... Флобер мог целыми днями шлифовать одно предложение... Восхитительно...

– Восхитительно! – отозвалась Ирэн.

Легкий ветерок пробежал сквозь крону лавров. Их жесткие листья сухо зашелестели как чешуйки из металла. Ирэн поежилась, ей стало холодно.

– Только путем творческой... – Миссис Олдуинкл споткнулась, не найдя слово «деятельности», и заменила его взмахом руки. – Только через искусство человек в какой-то степени уподобляется Богу... Богу...

Ночной бриз громче зашуршал листьями лавров. Ирэн скрестила руки, обняв саму себя, чтобы немного согреться. К несчастью, это боа из плоти и крови само было чувствительно к холоду. К вечеру она надела платье с короткими рукавами. Теплоту ее обнаженных рук мгновенно унес ветер, и температура в окружающей их атмосфере поднялась от этого, вероятно, на миллиардную долю градуса.

– Это высшая форма жизни, – произнесла миссис Олдуинкл. – Единственно возможная форма.

С нежностью она снова взъерошила волосы на голове Ирэн. А в этот момент мистер Фэлкс предавался размышлениям, своего рода медитации. О трамваях в Аргентине, о полях гуано в Перу, о гудящих генераторах электростанций у подножия африканских водопадов, об австралийских холодильных установках, набитых тушками баранов, о душной темноте угольных шахт в Йоркшире, о чайных плантациях на склонах Гималаев, о японских банках, о нефтяных скважинах в Мексике, о пароходах, бороздивших Китайское море, – в этот самый момент мужчины и женщины всех рас и цветов кожи в поте лица трудились, чтобы снабдить миссис Олдуинкл источником доходов. Ведь над двумястами семьюдесятью тысячами фунтов капитала миссис Олдуинкл никогда не заходило солнце. Люди вкалывали, а миссис Олдуинкл вела высшую форму жизни. Она жила только ради искусства, а они – пусть и не понимая ничего в ее праве на привилегии – давали ей такую возможность.

Молодой лорд Ховенден вздохнул. Ах, если бы только это его пальцы играли сейчас с мягкими и плотными прядями волос Ирэн! Вот почему, чем больше ему нравилась Ирэн, тем меньше симпатий вызывала ее тетя Лилиан.

– А вы когда-нибудь мечтали стать художником, Ховенден? – неожиданно обратилась к нему миссис Олдуинкл.

Она склонилась к нему, и в ее глазах отразился блеск двух или трех миллионов бесконечно далеких от нас солнц. Миссис Олдуинкл готовилась предложить ему попытаться создать поэтический эпос о несправедливости политики властей и прискорбном положении рабочего класса. Нечто среднее между Шелли и Уолтом Уитменом.

– Я? – удивился Ховенден, а потом громко рассмеялся. Это прозвучало дерзко.

Миссис Олдуинкл отпрянула с обиженным видом.

– Вот уж не знаю, почему подобная мысль кажется вам комичной, – усмехнулась она.

– Вероятно, потому, что у него есть другая работа, – донесся из темноты голос мистера Фэлкса. – Более важная.

И при звуках этого впечатляющего, глубокого, пророческого голоса лорд Ховенден ощутил, что такая работа у него действительно имеется.

– Более важная? – поразились миссис Олдуинкл. – Но что может быть важнее? Как подумаешь о Флобере...

О Флобере следовало подумать в контексте пятидесяти четырех часов в неделю, которые он проводил, оттачивая до совершенства одно-единственное предложение. Но миссис Олдуинкл слишком переполнял восторг, чтобы сформулировать это.

– А вы бы повспоминали ради разнообразия о шахтерах-угольщиках, – произнес мистер Фэлкс. – Как вам такое предложение?

– Да, – кивнул лорд Ховенден.

Значительную часть своего состояния он сколотил на угле. И потому чувствовал себя особенно ответственным за шахтеров, когда у него хватало времени вообще размышлять на подобные темы.

– Вспомните, – повторил мистер Фэлкс и погрузился в молчание, более красноречивое и пророческое, чем любые речи.

Воцарилась пауза. Порывы ветра сделались более частыми и пронизывающими. Ирэн плотнее стиснула руки вокруг груди. Она дрожала от холода. Миссис Олдуинкл почувствовала, как сотрясается молодое тело, прислонившееся к ее коленям. Она и сама продрогла, но после сказанного Кардану и остальным было невозможно укрыться в доме еще какое-то время. А потому дрожь Ирэн только вызвала приступ раздражения.

– Сейчас же перестань, – сердито сказала она. – Что за вздорная у тебя привычка? Как у маленькой собачонки, которая трясется даже рядом с огнем камина.

– Не говорите так. – Лорд Ховенден встал на защиту Ирэн. – На улице стало действительно плохладно.

– Что ж, если вы так считаете, – миссис Олдуинкл вложила в реплику максимум сарказма, – то пойдите и попросите их растопить камин.

Время близилось к полуночи, когда хозяйка согласилась вернуться в дом.

Глава VII

Сказать два слова – «спокойной ночи» каждый раз оказывалось для миссис Олдуинкл делом трудным. Ведь этими двумя словами она будто выносила смертный приговор еще одному ушедшему дню (да, еще одному, а дней оставалось все меньше, и делались они все короче). И тем самым выносила приговор, хотя и временный, самой себе. Потому что стоило произнести фразу, и ей уже не оставалось ничего, кроме как уползти в темноту комнаты и похоронить себя в черном забытьи сна. Шесть часов, восемь часов жизни будут украдены у нее и уже не вернуться. А какие чудеса могли происходить, пока она лежала между двумя простынками! Неслыханное счастье предстало бы перед ней, но, заметив, что она дрыхнет, глухая ко всему, тихо развернулось бы и удалилось навсегда. Или же кто-то произнесет самое важное откровение, которое миссис Олдуинкл мечтала услышать всю жизнь. «Вот он! – воображала она себе чье-то восклицание. – Вот в чем секрет вселенной! Какая, право, жалость, что Лилиан отправилась спать. Она бы так хотела узнать его». «Спокойной ночи» становилось словно прощанием с застенчивым любовником, который пока не решился признаться в своих чувствах. Еще минута, и он заговорил бы, раскрылся как единственная в мире родственная ей душа. Но... «Спокойной ночи», и он навсегда оставался для нее ничего не значащим, ничтожным мистером Джонсом. Неужели она должна распрощаться и с этим днем тоже, так и не дождавшись волшебной трансформации?

«Спокойной ночи». Каждый вечер миссис Олдуинкл откладывала эту фразу до последнего момента. А потому, как правило, покидала гостиную в половине второго или в два часа ночи. Но и тогда слова произносились не сразу. Уже на пороге своей просторной спальни она останавливалась и отчаянно стремилась продлить разговор с тем из гостей, кто вызывался проводить ее наверх. А вдруг именно в эти последние пять минут, в интимной обстановке и полной тишине, установившейся в доме, прозвучит нечто значимое? И пять минут растягивались на сорок, а миссис Олдуинкл все стояла на пороге, пользуясь любой самой

последней возможностью оттянуть мгновение, когда смертный приговор все же придется произнести.

Когда же никого больше не оказывалось под рукой, ей приходилось довольствоваться обществом Ирэн. Племянница всегда, даже раздевшись, приходила в одной ночной рубашке, чтобы помочь миссис Олдуинкл подготовиться ко сну – заставлять горничную бодрствовать так долго хозяйка считала недопустимым. Нет, от Ирэн не следовало ожидать внезапных мудрых откровений или важных мыслей. Но как знать? Известно же, что устами младенцев... И в любом случае разговаривать с Ирэн, этой милой девочкой, такой преданной, было лучше, чем сразу обречь себя на заточение в одинокой постели.

Но на сей раз около часа ночи миссис Олдуинкл двинулась в сторону двери. Мисс Триплау и мистер Фэлкс заявили, что тоже хотят спать, последовав за ней. И подобно неразлучной тени, Ирэн молча поднялась и побрела вслед. На полпути через зал миссис Олдуинкл остановилась и обернулась. Выглядела она весьма внушительно – королева из трагедии в кораллово-красном бархате. Ирэн замедлила шаг. Более нетерпеливые мистер Фэлкс и мисс Триплау продолжали идти к выходу из зала.

– Вы тоже должны скоро ложиться спать, – произнесла она, обращаясь к троим мужчинам, остававшимся сидеть в дальнем углу, тоном и добрым, и властным одновременно. – Я просто не могу допустить, чтобы вы, Кардан, не дали этим молодым людям нормально отдохнуть ночью. Бедняжка Кэлами весь день провел в пути! А Ховендену в его возрасте вообще необходимо спать как можно больше.

Миссис Олдуинкл терпеть не могла, если гости продолжали бодрствовать и общаться между собой, пока она сама лежала в склепе своей кровати. «Бедняжка Кэлами» было произнесено с таким выражением, словно речь шла о случае вопиюще жестокого обращения с животными. Она почувствовала, как ее переполняет материнская забота об этом молодом человеке.

– О да, бедняжка Кэлами! – повторил мистер Кардан, подмигивая. – Из чистого сочувствия я предложил выпить на сон грядущий пинту-другую красного вина. Ничто не способствует крепкому сну лучше.

Миссис Олдуинкл обратила взор своих ярких голубых глаз на Кэлами, улыбнувшись сладчайшей и берущей за душу улыбкой.

- Пойдемте, - сказала она. - Пойдемте же. - И протянула руку неуклюжим жестом. - И вы, Ховенден, тоже, - добавила миссис Олдуинкл почти умоляющим тоном.

Взгляд Ховендена отчаянно заметался между мистером Карданом и Кэлами; он надеялся, что один из них ответит ей за него.

- Мы ненадолго, - проговорил Кэлами. - Самое время выпить бокал вина. Я совершенно не устал, и предложение Кардана отведать немного кьянти звучит соблазнительно.

- Что ж, ладно, - промолвила миссис Олдуинкл, - если вы предпочитаете вино...

Она отвернулась, а потом зашуршала к двери, подметая пол бархатным шлейфом. Мистер Фэлкс и мисс Триплау, нетерпеливо топтавшиеся рядом с дверью, чуть расступились, чтобы ее уход был обставлен со всей торжественностью. За ней последовала Ирэн. Дверь за ними закрылась. Кэлами повернулся к мистеру Кардану.

- Если я предпочитаю вино! - повторил он и поинтересовался: - Но предпочитаю его чему? В ее устах это прозвучало так, словно я встал перед выбором между ней и пинтой вина, изменив ей с кьянти. Это выше моего понимания.

- Просто вы не знаете Лилиан так же хорошо, как я, - сказал мистер Кардан. - А теперь пойдемте и найдем в столовой бутылку и чистые бокалы.

На полпути по лестнице, - а это был грандиозный и величественный пролет ступеней, плавно поднимавшихся вверх под изогнутым, похожим на своды туннеля, полукругом потолка, - миссис Олдуинкл задержалась.

- Когда я спускаюсь или поднимаюсь здесь, - восторженно произнесла она, - то всегда думаю о них. Какое же это было зрелище!

- О ком? - спросил мистер Фэлкс.

– О великих людях прежних эпох.

– О прежних тиранах?

Хозяйка особняка посмотрела на него с жалостью и грустно улыбнулась.

– А еще о поэтах, ученых, философах, живописцах, музыкантах и просто красивых женщинах. Вы забыли о них, мистер Фэлкс. – Она подняла руку, словно вызывая их духи из пропасти веков.

Глаз экстрасенса, вероятно, увидел бы, как увешанный драгоценностями князь с носом муравьеда шествует по лестнице вдоль живого подобострастного коридора прихлебателей. А вслед за ним спускаются шуты и горбатые карлики, которые осторожно по диагонали преодолевают каждую слишком высокую для них ступеньку...

– Ни о ком я не забываю, – заявил мистер Фэлкс. – Однако считаю, что тирания обходилась народу слишком дорогой ценой.

Миссис Олдуинкл вздохнула и возобновила подъем.

– Какой он странный, этот Кэлами, вы не находите? – обратилась она к мисс Триплау.

Миссис Олдуинкл, обожавшая обсуждать характеры людей, гордившаяся своей проницательностью и психологической интуицией, всех считала «странными», даже Ирэн, когда снисходила до того, чтобы перемывать с кем-то ее косточки. Ей нравилось воображать всех знакомых чрезвычайно сложными натурами, которыми в их самых простых поступках двигали прихотливые и непостижимые мотивы, кого обуревали великие и темные страсти, снедали тайные пороки. В общем, она отводила каждому гораздо более важное место, чем он занимал в реальной жизни, и считала значительно интереснее.

– Что вы о нем думаете, Мэри?

– Он очень умен, – ответила мисс Триплау.

– О, конечно, конечно. Но я слышала столько занятных историй о его любовных похождениях. О не совсем обычных вкусах.

Они остановились у дверей спальни миссис Олдуинкл.

– Скорее всего в этом и заключалась причина, – добавила она, напуская на себя загадочный вид, – почему он так надолго отправился путешествовать – так сказать, бежал от цивилизации...

Затронув подобную тему, разговор можно было естественным образом надолго затянуть. Момент произнести роковое «спокойной ночи» пока не настал.

А внизу в большом зале трое мужчин расположились за бутылкой красного вина. Причем мистер Кардан уже наполнял бокалы собеседников дважды. Хотя Кэлами пока только начинал видеть донышко после первой порции, а бокал юного лорда Ховендена был вообще даже не ополовинен. Не привыкший к спиртному, он боялся, что ему станет плохо, если переберет этого молодого и насыщенного напитка.

– Вам скучно, попросту скучно, – произнес мистер Кардан. Он посмотрел на Кэлами поверх своего бокала и сделал большой глоток словно за его здоровье. – В последнее время вам не повстречался человек, которым вы смогли бы увлечься. Если, конечно, у вас не воспалились желчные протоки.

– Нет, – улыбнулся Кэлами.

– Или это первый приступ климактерического периода? Вам, случайно, не тридцать пять лет? Пятью семь – очень опасный возраст. Хотя, конечно, ему не сравниться с тем, что происходит в шестьдесят три. Вот когда наступает настоящий климакс. – Мистер Кардан покачал головой. – Хвала Господу, я миновал его, не умерев, не вступив в лоно римской церкви и не женившись. Воистину спасибо за это. А как обстоят дела у вас?

– Мне тридцать три, – ответил Кэлами.

– Самый безвредный период в жизни. Тогда все объясняется одной лишь скукой. Повстречаете какую-нибудь молодую соблазнительницу, и весь прежний пыл

вернется.

Лорд Ховенден засмеялся чуть слышным смехом много повидавшего на своем веку человека. Кэлами покачал головой.

– Но мне вовсе не хочется, чтобы он возвращался, – заявил он. – Я не желаю поддаваться чарам никаких обольстительниц. Это глупо, по-ребячески. Прежде я тоже считал, что доля баловня судьбы достойна восхищения и зависти. Дон Жуану отведено в литературе почетное место, и всем кажется только естественной похвальба Казановы своими победами. Вот и я плыл по течению, соглашаясь с общепринятыми суждениями, и когда был удачлив в любви, – а я, к сожалению, был в ней удачлив всегда, – то придерживался о себе более высокого мнения.

– В этом смысле все мы похожи, – заметил мистер Кардан. – Простительная слабость.

Лорд Ховенден закивал и отпил глоток вина.

– Простительная, несомненно, – сказал Кэлами. – Но, если задуматься, не слишком разумная. Ведь гордиться особенно нечем, как нечем и похваляться. Чтобы понять это, достаточно подумать о других «героях», которые наслаждаются плодами таких же успехов или даже более значительных и многочисленных, чем ваши. И кто предстанет перед вами? Тесные ряды наглых конюхов и развязных спортсменов, очерстевших толстокожих негодяев и отвратительных старых сатиров; деревенских простаков с чудными кудряшками при полном отсутствии мозгов или маленьких и пронырливых сутенеров; молодых людей неопределенного пола с вялым рукопожатием и волосатых гладиаторов – словом, огромная армия, составленная из наиболее одиозных образцов человеческих особей. И что же, мне гордиться принадлежностью к их числу?

– А почему нет? – усмехнулся мистер Кардан. – Мы должны благодарить Бога за любой врожденный талант, который нам отпущен свыше. Если ваш дар в области высшей математики, возблагодарите Всевышнего, а если вам дано легко соблазнять женщин, это не должно уменьшить вашей благодарности. Рассмотрите процесс вознесения хвалы Господу более внимательно, и он покажется вам сродни гордости за себя или хвастовству успехами. Лично я не

вижу большого вреда, когда кто-то не слишком громко похваляется частичкой дара Казановы, которой наделен. Вы, молодежь, всегда так чертовски нетерпимы к другим. Вам кажется непозволительным, чтобы кто-то отправился в рай или в ад не той дорогой, которая получила ваше одобрение... Вам надо бы пролистать одну индийскую книгу. Индусы подсчитали, что существует восемьдесят четыре различных типа человеческих существ, и у каждого свой жизненный путь. Наверное, они даже преуменьшили это количество.

Кэлами рассмеялся.

- Я могу говорить лишь о том типе, к которому принадлежу сам, - сказал он.

- А Ховенден и я только о своих типажах. Верно, Ховенден? - спросил Кардан.

- Конечно, - ответил молодой человек, но почему-то зарделся.

- Продолжайте, - попросил Кардан, снова наполняя бокал Кэлами.

- Так вот, - снова заговорил тот, - если принадлежишь к тому типу, к которому принадлежу я, то не можешь получать удовлетворения от подобных успехов. И удовлетворение тем меньше, чем глубже я задумываюсь над их природой. Либо вы влюблены в женщину, либо нет. В первом случае вы дали увлечь себя своему воспаленному воображению, чувствам или же интеллектуальному любопытству. Если же не влюблены, то все сводится к чистым экспериментам в области прикладной физиологии с элементами психологических опытов для придания процессу хоть какого-то интереса. Но стоит вам по-настоящему полюбить, и это означает порабощение, подчинение и зависимость от другого человеческого существа, причем унижительную. И унижение тем сильнее, чем более вы склонны к порабощению и подчинению.

- А поэт Браунинг так не считал, - заметил мистер Кардан. - «Вот женщина. Ее предназначенье быть нам желанной, только и всего...»

- Браунинг был дураком.

Однако лорд Ховенден придерживался мнения, что прав был именно Браунинг. Он думал о лице Ирэн, смотревшей в прорезь медного колокола волос.

- Браунинг принадлежал к другому типу, - объяснил мистер Кардан.

- Да, но к типу дураков. Я настаиваю на своей точке зрения, - заявил Кэлами.

- А если по правде, - произнес мистер Кардан, прикрыв свой обычно подмигивающий глаз, - то я склонен согласиться с вами. И на самом деле я не настолько терпим ко всему, как мне хотелось бы.

Кэлами в задумчивости хмурился, занятый своими мыслями, а потом, не продолжив обсуждения степени терпимости мистера Кардана, сказал:

- Если подводить итог разговора, то остается без ответа вопрос: где выход? И что можно сделать? Поскольку очевидно, как вы верно отметили, что соблазны снова возникнут. Аппетит приходит во время еды. А философия, которая помогает справиться с прошлыми и будущими искушениями, почему-то всегда оказывается бессильна перед настоящим.

- Буду счастлив ответить, - улыбнулся мистер Кардан. - Вопрос в другом. Вы знаете более предпочтительный вид спорта для закрытых помещений? Только отвечайте честно: знаете или нет?

- Вероятно, нет, - сказал Кэлами, в то время как лорд Ховенден усмехнулся, услышав последнее замечание мистера Кардана. - Но в том-то и дело. Неужели разумный мужчина не может найти для себя более достойного занятия, чем спорт в закрытых помещениях?

- Вряд ли.

- Возможно, - продолжил Кэлами. - Но вот я начинаю ощущать, что с меня довольно занятий любыми видами спорта на свежем воздухе или под крышей. Мне бы хотелось найти теперь для себя более серьезное дело.

- Но это легче сказать, чем сделать, - покачал головой мистер Кардан. - Для людей нашего образца трудно найти занятие, которое было бы действительно серьезным. Разве не так?

Кэлами вздохнул:

– Верно. Но в то же время постоянные занятия спортом постепенно принижают в нас человеческое достоинство. Становятся все более аморальными. Я бы так это и охарактеризовал, если бы само слово не казалось мне абсурдным.

– Не такое уж оно и абсурдное, уверяю вас, если употреблять его так, как вы. – Мистер Кардан подмигивал поверх ободка бокала. – Пока вы не начинаете возводить мораль в ранг закона, ничего абсурдного в ней нет. Существуют правила, принятые в обществе, с одной стороны, и есть индивидуумы со своими личными чувствами и моральными реакциями – с другой. То, что аморально в одном человеке, не делается автоматически таковым для другого. Для меня, например, нет вообще ничего аморального. Понимаете, это уже проверено – я могу творить что угодно, но продолжать при этом не только уважать сам себя, но и оставаться уважаемым другими. Более того, даже считаться человеком благородным:

Ты и карточным шулером побывал

И вино выпивал галлонами.

Все на свете пороки познал Том Кардан,

Всех их сделал своими знакомыми.

Впрочем, не буду вас утомлять, полностью цитируя эпитафию, которую сочинил для себя несколько лет назад. Достаточно упомянуть, что в двух следующих строфах я подчеркиваю: все это абсолютно ничего не значило в моей судьбе. *Malgre tout*[б - Несмотря ни на что (фр.)], я остался честным, трезвым, умным и тонко мыслящим человеком, каким меня признают все и всегда.

Мистер Кардан опустошил свой бокал и вновь потянулся за бутылкой.

– Счастливый вы человек, – заметил Кэлами. – Далек не каждый из нас обладает личностью, распространяющей вокруг себя такую ауру святости, которая обеззараживает любые аморальные поступки, делая их внешне безвредными. Когда сам совершаю глупость или подлость, не могу не сознавать, что это именно глупо и подло. Моей душе, видимо, не хватает добродетелей, чтобы превратить глупость в мудрость и очиститься от скверны. И не дано смотреть на то, что я делаю глазами стороннего наблюдателя. Человек совершает на своем веку множество глупостей! Того, чего сам не хотел бы допустить. Если бы гедонизм был реально возможен и ты мог делать лишь то, что доставляет тебе

удовольствие! Но увы, чтобы стать гедонистом, приходится быть слишком расчетливым; вот почему подлинного гедонизма нет и никогда не существовало. Вместо того чтобы тешить себя поступками, приносящими радость, каждый из нас на протяжении своей жизни влачит существование, основанное на противоположных принципах. Невольно мы делаем то, чего нам совершенно не хочется, подчиняемся безумным импульсам, которые заводят нас в трезвом уме и здравой памяти в тупики дискомфорта, тоски, скуки и сожалений. Порой, – продолжил Кэлами, вздохнув, – я с грустью вспоминаю службу в армии во время войны. Там по крайней мере вообще не стоял вопрос о том, чтобы каждый делал только то, что ему нравится. Отсутствовала свобода и возможность выбора. Ты делал то, что приказывали, вот и все. Сейчас я свободен; передо мной открыты возможности заниматься чем угодно, однако я упорно делаю то, чего не люблю.

– А понятно ли вам в таком случае вообще, что именно вы любите? – поинтересовался мистер Кардан.

Кэлами пожал плечами:

– Нет. Наверное, я мог бы ответить, что люблю читать, удовлетворять свое любопытство и предаваться размышлениям. Но размышлениям о чем? Я даже этого не прояснил для себя. Мне не нравится волочиться за дамами, не люблю растрачивать время на пустую светскую болтовню или в гонке за тем, что принято называть удовольствиями. И по непостижимой причине, почти против воли я постоянно замечаю, что провожу значительную часть жизни, занимая себя именно этим. Мне порой кажется, что здесь проявляется какая-то неизвестная науке форма безумия.

Для молодого лорда Ховендена, который знал, что любит танцевать, а больше всех на свете вожделем сейчас к Ирэн Олдуинкл, его слова представлялись странными.

– Не понимаю, что может помешать мужчине делать то, к чему он расположен, – подал голос он и добавил, вспомнив лекции мистера Фэлкса: – За исключением экономической необходимости.

– И себя самого, – добавил мистер Кардан.

– Но хуже всего и навевает депрессию, – произнес Кэлами, – предчувствие, что так будет продолжаться всегда, вопреки всем твоим усилиям остановиться. Мне иногда даже жаль, что меня никто не пытается лишить свободы. Мне некого винить, проклинать за то, что мешает мне, кроме самого себя. Порой хочется стать простым рабочим, ей-богу.

– Попробуйте, и это желание у вас мгновенно пропадет, – усмехнулся лорд Ховенден.

Кэлами расхохотался.

– Вы совершенно правы! – воскликнул он и допил последние капли из своего бокала. – Не пора ли нам отправиться спать?

Глава VIII

На долю Ирэн выпала счастливая привилегия расчесывать на ночь волосы своей тетушки. Для нее эти минуты становились самыми важными за весь минувший день. Иногда ей с трудом удавалось справляться с одолевавшим ее сном, а подавлять зевоту стоило невероятных усилий. Три года постоянной практики так и не приучили ее к привычке тети Лилиан бодрствовать допоздна. Поначалу тетушка поддразнивала ее, издеваясь над полудетской привычкой долго спать. Она могла с заботливым видом начать настаивать, что Ирэн следует отдыхать после обеда и вообще отправляться на покой уже в десять часов. Такое отношение заставляло племянницу стыдиться своего ребячества. В ответ на преувеличенную заботу она протестующе заявляла, что уже не маленькая девочка, никогда не устает, а пяти-шести часов ночного сна ей вполне достаточно. Она поняла: чтобы тетя Лилиан не видела, как она зевает, нужно выглядеть бодрой и жизнерадостной. Если тетя Лилиан ничего не замечала, то у нее не было оснований ни для того, чтобы дразнить Ирэн, ни для проявления снисходительно обидной заботы.

И в любом случае все неудобства окупались удовольствием от доверительных бесед перед зеркалом на туалетном столике. Пока Ирэн проводила гребнем вдоль ее поблекших золотисто-каштановых прядей, миссис Олдуинкл, закрыв глаза и с выражением блаженства на лице, не переставая говорила. В

отрывистых репликах, в обрывках незаконченных фраз повествовала она о событиях прошедшего дня, о своих гостях, о людях, с которыми они встречались. Или же вспоминала прошлое, строила планы на будущее – для себя и Ирэн – и часто сбивалась на тему любви. Причем обо всем этом миссис Олдуинкл могла говорить без стеснения или смущения, совершенно откровенно. Чувствуя в такие минуты, что тетя Лилиан относится к ней как к взрослой, почти равной себе женщине, Ирэн переполнялась гордостью и благодарностью. Вот так, даже не ставя перед собой намеренно цели окончательно подчинить племянницу своей воле, миссис Олдуинкл сообразила, что ночные откровения были наилучшим способом добиться этого. На самом деле она разговаривала с Ирэн так открыто, потому что ей необходимо было перед кем-то излить душу, а никого больше рядом не оказывалось. И невелик грех, что она исподволь поработала племянницу. Превращаясь в доверенное лицо тетушки Лилиан, воспринимая это как некий почетный титул, Ирэн в избытке благодарности делала неразрывными узы, какие связывали ее с тетей еще в детские годы.

И точно так же, мимоходом она училась легко рассуждать на многие темы, о которых столь юным особам не полагалось вроде бы даже знать, хотя в действительности она о них ничего и не знала, получая лишь информацию из вторых рук. Ирэн выработала манеры просвещенной молодой женщины, рано познавшей тонкости жизни, можно сказать, в совершеннейшей пустоте, не имея личного опыта. На полном серьезе и без малейшего смущения она могла озвучивать вопросы очень интимные, наивно повторяя вслух на публике то, что миссис Олдуинкл проговаривала лишь фрагментами во время их ночных бдений. Вот откуда у Ирэн возникло отношение к себе как к вполне зрелой даме.

Нынешней ночью миссис Олдуинкл овладело грустное настроение и желание поплакаться.

– Я становлюсь совсем старой, – сказала она, вздыхая и на мгновение открывая глаза, чтобы взглянуть на отражение своего образа в зеркале. Увы, но образ не хотел опровергать ее заявления. – А ведь ощущаю я себя еще полной сил и молодости.

– Вот что важнее всего! Только это и имеет значение, – поспешно заверила Ирэн. – И, кроме того, чепуха, что вы стареете. Вы не выглядите старой.

Удивительно, но сама Ирэн была уверена в правдивости своих слов. В ее глазах тетя Лилиан вовсе не походила на старуху.

– Люди перестают любить тех, кто дряхлеет, – продолжила миссис Олдуинкл. – Друзья ненадежны и изменчивы. Постепенно они начинают пропадать. – Она снова вздохнула. – Когда я вспоминаю своих друзей...

Всю жизнь миссис Олдуинкл обладала способностью разрывать отношения с друзьями и любовниками. Мистер Кардан оставался практически единственным, кто уцелел из раннего поколения близких ей людей. С остальными она рассталась, сделав это с легким сердцем. Пока Лилиан была моложе, найти новых друзей вместо прежних представлялось ей плевым делом. Потенциальных друзей, считала она, можно завести в любое время и где угодно. Но теперь уже начала сомневаться в неиссякаемости их потока, каким он представлялся раньше. Миссис Олдуинкл вдруг обнаружила, что все ее ровесники уже сформировали круг своего общения. А более молодые с трудом верили, будто сердцем и душой она по-прежнему молода и с ней можно общаться на равных. Соответственно, и относились они к ней вежливо, но отстраненно, как положено вести себя с незнакомыми пожилыми леди.

– Я считаю, что люди ужасны, – сказала Ирэн, проводя гребнем по волосам с особой силой, чтобы подчеркнуть свое негодование.

– Но ты же не отступишься от меня? – произнесла миссис Олдуинкл.

Вместо ответа Ирэн склонилась над ней и поцеловала в лоб. Миссис Олдуинкл открыла свои ясные синие глаза и посмотрела на нее, улыбаясь безмятежной улыбкой, которую Ирэн всегда любила.

– Если бы только все походили на мою маленькую Ирэн! – Миссис Олдуинкл позволила своей голове упасть на грудь и снова закрыла глаза. – О чем ты вздыхаешь так печально, что сердце разрывается? – внезапно спросила она.

– Право же, ни о чем, – ответила Ирэн небрежно, полностью выдав свое смущение. Потому что этот глубоко втянутый в себя воздух и быстрый выдох действительно не имели ничего общего со вздохом. Так она зевала, ухитряясь не открывать рта.

Но миссис Олдуинкл с ее неизменной склонностью к романтическим интерпретациям даже не подозревала истины.

– Вот уж действительно ни о чем! – повторила она. – Тогда почему я слышу, словно ветер свистит в трещинах разбитого сердца? Никогда в жизни не слышала подобного вздоха. – Миссис Олдуинкл посмотрела на отражение племянницы в зеркале. – Ты покраснела ярче пиона. В чем дело?

– Ни в чем, говорю же вам, – с раздражением ответила Ирэн.

Раздражалась она не столько на тетю, сколько на себя за то, что не вовремя зевнула, а покраснела и вовсе беспричинно. И она еще более сосредоточенно стала расчесывать волосы, мечтая, чтобы миссис Олдуинкл закрыла тему. Но та в своей бестактности была неудержима.

– Я никогда не слышала ничего близкого по звучанию к столь томимому любовью вздоху, – промолвила она, широко улыбаясь в зеркало.

Остроты миссис Олдуинкл обладали особенностью обрушиваться на свой объект тяжеловесными ударами дубины. Когда на нее нападало желание пошутить, порой трудно было понять, кто заслуживал большего сочувствия – ее жертва или сама миссис Олдуинкл. Потому что, хотя жертва и могла получить тяжкий удар при виде того, как миссис Олдуинкл нелепо и тщательно готовится «внезапно» разразиться шуткой, вам хотелось лишь одного: чтобы она удержалась от искушения. Но ей это редко удавалось. Миссис Олдуинкл неизменно доводила свои остроты до казавшегося ей логичным финала, причем заходила обычно в них дальше, чем мог предвидеть человек более утонченного ума, чем ее собственный.

– Так, наверное, вздыхают киты! – игриво продолжила она. – Мне сразу представляется страсть невиданной силы. Кто он?

Она вскинула брови и улыбалась, как казалось ей самой при взгляде в зеркало, исполненной коварного лукавства, но при этом очаровательной улыбкой. Так улыбались персонажи комедий Конгрива, решила миссис Олдуинкл.

– Тетя Лилиан! – почти в отчаянии, едва не доведенная до слез воскликнула Ирэн. – Я вам говорю правду. – В такие моменты она сознавала, что способна испытывать к тетушке Лилиан чувство, близкое к ненависти. – Если хотите знать, я всего лишь...

Она была готова все отважно выложить начистоту. Рискуя вызвать насмешку или издевательский порыв заботы, собралась с духом признаться, что просто так зевнула. Но миссис Олдуинкл, желавшая веселиться, усмехнулась:

– Впрочем, я догадываюсь, кто это. Я не такая уж дряхлая слепая старуха, как тебе кажется. Ты надеялась скрыть это от меня? Полагала, я не замечу? Глупенькое дитя! Неужели ты списала тетку в разряд дряхлых подслеповатых развалин?

Ирэн покраснела, на глаза навернулись слезы.

– Но я не понимаю, о ком вы говорите, – сказала она, не позволив голосу дрогнуть.

– Только представьте, какие мы невинные! – поддразнила миссис Олдуинкл все еще в стиле Конгрива. Но затем сжалилась над Ирэн и вывела бедняжку из мучительного недоумения. – Разумеется, это Ховенден. Кто же еще?

– Ховенден?

– Ага, вот вам и разгадка невинной тайны! – воскликнула миссис Олдуинкл. – Все это очевидно, – добавила она. – Бедный мальчик таскается за тобой как собачонка.

– За мной? – Ирэн весь вечер следовала за тетей Лилиан и не заметила, что за ней самой тоже кто-то мог следовать.

– Не надо притворства, – произнесла миссис Олдуинкл. – Это глупо. Гораздо лучше проявить откровенность и прямоту. Признайся, что он тебе нравится.

– Да, конечно, он мне нравится. Но только... Я даже не задумывалась о нем в этом смысле.

С легким, хотя и не лишенным благорасположения презрением миссис Олдуинкл улыбнулась. Она уже забыла о собственной депрессии, о причинах, заставивших ее изливаться в жалобах на устройство мироздания. Поглощенная увлекательным занятием – глубоким и проникновенным изучением

человечества, она снова была счастлива. Любовь – вот что только и стоит ценить в жизни. В сравнении с ней даже искусство почти переставало существовать. Миссис Олдуинкл всегда интересовали чужие любовные чувства почти в той же степени, как и собственные. Ей хотелось, чтобы все вокруг были влюблены – постоянно и по возможности очень сложно. Она обожала сводить людей вместе, пестовать нежные отношения между ними, наблюдать зарождение и развитие страсти, чтобы обязательно прийти на помощь, когда наступала драматическая развязка. А если одна новая любовь превращалась в старую, тихо угасала или завершалась бурным разрывом, всегда имелась возможность начать все сначала, организуя встречи, лелея чувства и наблюдая со стороны. И так раз за разом...

Человек должен следовать велениям сердца, потому что это частичка Бога, заключенная в каждом из нас, руководит сердечными порывами. И поклонение Эросу следует доводить до его высшей формы, никогда не удовлетворяясь ничем, кроме самых мощных проявлений страстей. Любовь, постепенно перетекавшая во всего лишь взаимную привязанность, доброту и понимание, становилась богохульством по отношению к Эросу. Человек, умеющий любить по-настоящему, рассуждала миссис Олдуинкл, легко оставляет прежнее, почти парализованное чувство, чтобы всем сердцем предаться новому увлечению.

– Какая ты все-таки гусыня! – усмехнулась миссис Олдуинкл. – Я порой задумываюсь, способна ли ты вообще любить, будучи такой бесчувственной и холодной?

Ирэн запротестовала. Любой, кто прожил бы вместе с миссис Олдуинкл так долго, как она, научился бы воспринимать обвинения в холодности, в неспособности к бурным чувствам как самые тяжкие. Лучше быть обвиненной в убийстве – особенно если преступление совершалось на почве страсти.

– Как можете вы говорить мне подобное? – возмутилась она. – Я ведь постоянно в кого-то влюблена.

В самом деле, разве у нее не было всех этих Петеров, Жаков и Марио?

– Тебе только так кажется, – с ноткой презрения вынесла приговор миссис Олдуинкл, забыв, как она сама убеждала племянницу, что та влюбилась. – Но это в большей степени игра воображения, нежели нечто реальное. Многие женщины просто рождаются такими. – Она покачала головой. – И такими же умирают.

Посторонний слушатель мог бы заключить из слов и тональности голоса миссис Олдуинкл, что Ирэн была великовозрастной старой девой лет под сорок, которая за последние двадцать лет доказала свою неспособность испытывать что-то, хотя бы близкое к истинной любовной страсти.

Ирэн промолчала, не прекращая расчесывать тетушкины пряди. Огульные заявления миссис Олдуинкл ранили ее сейчас особенно больно. Ей даже хотелось совершить нечто поразительное, чтобы доказать их безосновательность. Нечто из ряда вон выходящее.

– Я всегда считала Ховендена весьма милым молодым человеком, – продолжала миссис Олдуинкл с таким выражением, будто с ней кто-то яростно спорил. И она говорила и говорила. А Ирэн слушала и орудовала гребнем.

Глава IX

В тишине и уединении своей комнаты мисс Триплау долго сидела с пером в руке над открытой тетрадью. «Дорогой Джим, – вывела она. – Мой дорогой Джим! Сегодня ты вернулся ко мне так внезапно, что я чуть не разрыдалась на глазах у людей. Было ли это чистой случайностью, что я сорвала тот лист с древа Аполлона и растерла пальцами, чтобы ощутить его аромат? Или ты стоял где-то рядом? Не ты ли тайно нашептал моему подсознанию повеление сорвать лист? Как бы я хотела знать! Иногда мне кажется, будто в жизни нет места случайностям и мы ничего не делаем без причины. Нынешним вечером я убедилась в этом.

Но почему тебе захотелось, чтобы я вспомнила маленькое заведение мистера Чигуэлла в Уэлтингэме? Зачем понадобилось заставить меня снова увидеть тебя сидящим в кресле парикмахера, таким напряженным и повзрослевшим, чтобы у тебя над головой продолжало вращаться колесо механической щетки, а мистер Чигуэлл говорил: „У вас очень сухие волосы, мистер Триплау“? А резиновая лента привода всегда казалась мне похожей на...» И миссис Триплау записала сравнение с мертвой змеей, которое пришло ей в голову. Причем у нее не было особой причины, чтобы совершать сдвиг во времени и делать данную метафору образом из детских воспоминаний. Ей показалось, что будет интереснее, если такое необычное сравнение придет в голову ребенку.

«Я теперь непрерывно задаюсь вопросом, имеет ли это воспоминание особое значение? Или, вероятно, тебя жестоко обидело мое пренебрежение к твоей памяти – мой бедный, милый Джим, – и ты решил воспользоваться первой же подвернувшейся возможностью и напомнить мне, что существовал когда-то, что существуешь до сих пор? Прости меня, Джим. Но забывчивость свойственна всем. Мы были бы слишком хороши, добры и бескорыстны, если бы помнили постоянно, что другие люди такие же живые, разные и сложные, как и мы, каждый из нас легко раним, нуждается в любви, а единственный реальный смысл нашего существования заключается в том, чтобы любить и быть любимыми. Но меня это не оправдывает. Невозможно простить себя лишь на том основании, что и остальные столь же плохи. Я обязана помнить больше. Не могу допустить, чтобы моя память заросла сорной травой. Сорняки заслоняют не только воспоминания о тебе, а вообще все самое хорошее, деликатное и утонченное. Вероятно, ты для того и напомнил мне о мистере Чигуэлле и о лавровишневом лосьоне, чтобы я поняла: я должна больше любить, больше восхищаться, проявлять сочувствие и внимание к людям?»

Она отложила ручку в сторону и, глядя в открытое окно на звездное небо, постаралась сосредоточиться на мыслях о нем, подумать о смерти. Но размышлять о смерти оказалось не так-то просто. Мисс Триплау осознала, как трудно непрерывно удерживать в голове идею гибели, небытия вместо жизни, пустоты. В книгах часто описывались медитации мудрецов. И она сама пыталась медитировать. Но почему-то из этого никогда ничего не получалось. В голову постоянно лезла всякая мелкая житейская чепуха, не имевшая отношения к предмету размышлений. Сосредоточиться на смерти не удавалось. Она обнаружила, что перечитывает только что написанное, расставляет пропущенные знаки препинания, поправляет огрехи стиля, особенно там, где текст получился слишком формальным, уж больно надуманным, недостаточно импульсивным для интимного дневника.

В конце последнего параграфа мисс Триплау добавила еще раз «Мой дорогой Джим», а потом повторяла эти слова вслух. И это произвело на нее обычный эффект: глаза налились слезами.

Квакеры молятся, как повелевает им их дух в данный момент, однако постоянно подчиняться велениям духа – нелегкий труд. Другие, более простые и распространенные верования снисходительнее относятся к человеческим слабостям и вооружают молящихся общепринятыми ритуалами, словами молитв и псалмами, четками или молитвенными кругами.

– Мой дорогой Джим, дорогой Джим. – Мисс Триплау нашла для своей молитвы словесную форму. – Дорогой Джим.

Слезы принесли облегчение, она почувствовала себя лучше, добрее, мягче. Но затем вдруг как бы услышала себя со стороны. «Дорогой Джим». Но действительно ли она глубоко прочувствовала эти слова? Не ломала ли комедию, притворяясь? Ведь он умер давно, их больше уже ничто не связывало. К чему же беспокоиться и настойчиво стараться вспомнить? И ее попытки систематически думать о нем, записи в потаенном дневнике, посвященные его памяти, – не было ли все это некой тренировкой для эмоций, разминкой для души? Уж не специально ли она до крови бредила свои сердечные раны, чтобы потом с помощью этой красной жидкости писать рассказы?

Но мисс Триплау отбросила подобные мысли, отмела их в сторону с чувством оскорбленного достоинства. Кошунственные мысли, лживые.

Она снова взялась за ручку и стала быстро писать, словно совершала обряд изгнания дьявола. Чем скорее они будут изложены на бумаге, тем быстрее зловещие мысли покинут ее голову.

«А помнишь, Джим, как однажды мы поплыли вместе на каноэ и чуть не утонули?»

Часть II

Отрывки из «автобиографии Фрэнсиса Челайфера»

Глава I

Пожилые джентльмены в своих клубах не смогли бы обрести такого роскошного уюта, какой познал я в воде Тирренского моря. Раскинув руки в стороны, уподобившись живому кресту, я покачивался лицом вверх на этой синей, чуть

прохладной воде. Солнечные лучи били прямо в меня, быстро превращая капли на лице и груди в соль. Голова покоилась, как на мягчайшей подушке, на безмятежной поверхности; тело лежало на прозрачном матрасе в тридцать футов толщиной, нежный, но упругий во всем своем объеме вплоть до песчаной постели, на которую он был положен. Парализованный мог бы оставаться в таком положении половину жизни и не знать, что такое пролежни.

Небо надо мной подернулось дымкой от полуденного зноя. Горы, когда я повернулся в сторону берега, чтобы посмотреть на них, почти полностью исчезли в ее пелене. А вот «Гранд-отель», пусть и не выглядел таким уж грандиозным, как на рекламных буклетах, – хотя там были все те же прославленные входные двери в сорок футов высотой, и даже четыре рослых акробата, встав друг другу на плечи, не смогли бы дотянуться до подоконника первого этажа, – не пытался прятаться от взгляда. Белые виллы бесстыже выглядывали из-за сосен, а перед ними вдоль темно-желтой линии пляжа я видел ряд частных кабинок, полосатые зонтики, ковырявшихся в песке детей, купальщиков, с брызгами барахтавшихся на мелководье, – полуголых мужчин, похожих на бронзовые статуи, девушек в ярких удлиненных купальниках, маленьких красных креветок, в которых превращались мальчишки, лоснящихся массивных моржей, на поверку оказывавшихся зрелыми матронами в резиновых шапочках и в черных купальных костюмах. Поверхность моря бороздили так называемые катамараны, сооруженные из двух понтонов, с высоким сиденьем для гребца посередине. Медленно, будто волоча за собой хвост из громкой, но мелодичной итальянской болтовни, смеха и песенок, они проползали мимо по синей глади. Иногда, опережая вспененную воду, шум собственного мотора и бензиновую вонь, пронесся катер. Тогда мой прозрачный матрас начинал раскачиваться подо мной, а волны, оставленные лодкой, то поднимали меня, то опускали, но постепенно со все меньшей амплитудой, пока поверхность моря не успокаивалась.

И на этом пока поставим точку. Описание, каким оно мне представляется, когда я его перечитываю, не лишено элегантности. Я не играл в бридж лет с восьми и не усвоил правил маджонга, однако могу утверждать, что овладел нюансами литературного стиля. И в искусстве беллетриста для меня нет тайн, поскольку это искусство красиво рассуждать ни о чем. В литературе я действительно добился успехов. Но лишь благодаря тому, – говорю это без тщеславного хвастовства, – что у меня все-таки есть талант. «Ничто не приносит больше пользы человеку, чем правильная и обоснованная самооценка». Как видите, даже Мильтон со мной соглашается во мнении о себе самом. Когда я пишу хорошо, это не просто значит, что я нашел новый способ плохо писать ни о чем.

В этом смысле мое самовыражение отличается от творчества многих более культурных коллег. Порой мне все-таки есть чем поделиться с читателем, и я давно сообразил, что выразить мысль изящно, хотя и цветисто, для меня так же просто, как ходить.

Разумеется, я не придаю своим способностям ни малейшего значения. Наверное, мыслей у меня не меньше, чем у Ларошфуко, а условия для творчества не хуже, чем у Шелли. Ну и что? У вас бы получилось великое произведение, скажете вы. Странные предрассудки мы культивируем до сих пор в том, что касается произведений искусства, питая пристрастие к ним. Религию, патриотизм, моральные устои, гуманность, общественные реформы мы давно выбросили за борт. Но почему-то до сих пор не оставляем жалких попыток цепляться за искусство. Что совершенно непостижимо, поскольку оно имеет меньше права на существование, чем многие объекты поклонения, от которых мы избавились, а как раз без них искусство-то и сделалось полностью лишенным смысла и предназначения. Искусство для искусства, игра ради игры, а не для победы. Самое время вдребезги разбить последнего и ненужного идола. Заклинаю вас, друзья мои, избавьтесь от оставшегося источника опьянения и проснитесь наконец трезвыми среди мусорных баков у подножия лестницы с небес.

Надеюсь, этого небольшого вступления достаточно, чтобы показать: занимаясь писательством, я не питаю иллюзий. Не исхожу из утверждения, что написанное мной может иметь хотя бы минимальную важность, и если я вкладываю столько усилий в изящество слога этих автобиографических фрагментов, то главным образом в силу укоренившейся привычки. Я практиковался в литературном мастерстве так долго, что ничего уже не могу с собой поделаться и всегда выкладываюсь по полной. Вы спросите: зачем же я вообще пишу, если считаю данный процесс лишенным смысла? Что ж, вопрос вполне уместный: почему вы так непоследовательны в том, что делаете и говорите? А оправдаться я могу, только признав свою слабость и безволие. Если говорить о принципах, то я не одобряю писанины; в принципе я желал бы жить столь же просто и примитивно, как все обычные люди. Плоть взывает, но дух слишком слаб. Каюсь – мне стало скучно. Я тоскую по развлечениям, которые отличаются от нехитрых радостей синемаатографа и танцев. Нет, я борюсь, стараюсь победить искушение, но в результате неизменно сдаюсь. Прочитываю страницу Виттгенштейна, играю Баха, пишу стихотворение, сочиняю несколько афоризмов, басню, отрывок автобиографии. Причем пишу тщательно, серьезно, даже со страстью, будто в том, что я делаю, присутствует рациональное зерно, словно миру не безразлично, узнает он мои мысли или нет, точно у меня есть душа, и я могу кого-то спасти, выплеснув размышления на бумагу. Однако я превосходно

осведомлен о том, что все эти отрадные гипотезы лишены оснований. В действительности я сочиняю просто, чтобы убить время и развлечь интеллект, которому, вопреки прежним благим намерениям, продолжаю потакать. С нетерпением ожидаю наступления зрелости, когда, одолев в себе последние богоданные черты Адама, поставлю крест на экстравагантных духовных устремлениях и заживу, исключительно удовлетворяя лишь запросы плоти. То есть стану вести предписанный природой образ жизни, которого я до сих пор побаиваюсь как монотонного и нудного. Отсюда и постоянные метания в сторону искусства – позвольте низайше попросить за них прощения. Но превыше всего хотел бы еще раз предупредить вас не придавать этому значения. Мое тщеславие было бы уязвлено, если бы у меня появились основания считать, что вы это делаете.

Как, например, бедная миссис Олдуинкл. Вот кто никогда не мог поверить, что я не сторонник теории искусства ради искусства. «Однако же, Челайфер, – говаривала она настойчивым, требовательным тоном, – как вы можете позволять себе богохульствовать, отзываясь столь пренебрежительно о собственном таланте?» В ответ я напускал на себя свой самый египетский вид – а мне неизменно говорили, почти обвиняли в том, что я выгляжу, как таинственная египетская статуя, – и с выражением сфинкса на лице отвечал: «Но я же демократ; как я могу позволить своему таланту богохульно сказываться на моей гуманности?» Или произносил еще что-нибудь столь же туманно-загадочное. Бедная миссис Олдуинкл! Но я позволил себе забежать вперед. Мною уже упомянута миссис Олдуинкл, а вы ее не знаете. Как, между прочим, и я сам до того блаженного утра в морской воде слышал только ее имя – а кто его не слышал? Конечно, миссис Олдуинкл, хозяйка салона, гостеприимная устроительница литературных вечеров и укротительница светских львов! Да она же – почти классика жанра, известна всем, как затертая цитата. Но вот только во плоти до того момента я не видел ее. Причем не потому, что она не приложила к этому усилий. Буквально за несколько месяцев до того через своего издателя я получил телеграмму: «КНЯЗЬ ПАПАДИАМАНТОПУЛОС ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫЛ ПОЛОН ЖЕЛАНИЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЛУЧШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛОНДОНА НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ОТУЖИНАТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМ ЧЕТВЕРГ ВОСЕМЬ ПЯТНАДЦАТЬ АДРЕС БЕРКЛИ-СКВЕР 112 ЛИЛИАН ОЛДУИНКЛ».

Изложенное телеграфным стилем приглашение звучало соблазнительно. Но благоразумно наведенные мной предварительные справки нарисовали перспективу не столь привлекательную, какой она виделась поначалу. Князь Пападимантопулос, вопреки многообещающему титулу и фамилии, на деле

оказался серьезным представителем интеллигенции, как и остальные гости. И даже гораздо более серьезным. Мне удалось выяснить, к своему ужасу, что он был известным геологом и разбирался в дифференциальном исчислении. Среди прочих гостей фигурировали по меньшей мере три весьма приличных писателя и один живописец. А о самой миссис Олдуинкл ходила молва как о весьма образованной женщине и не полной дуре. Я заполнил прилагавшийся бланк оплаченного ответа и отнес на ближайшую почту. «ВЕСЬМА СОЖАЛЕЮ НЕ УЖИНАЮ ВНЕ ДОМА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПОСТА ФРЭНСИС ЧЕЛАЙФЕР». И во время Великого поста я втайне ожидал получить еще одно приглашение. К моему облегчению, хотя и к некоторому сожалению тоже, больше миссис Олдуинкл не дала о себе знать. Если честно, то мне хотелось бы, чтобы она предприняла новую попытку вытащить меня из числа завсегдатаев салона леди Гиблет.

О, эти вечера у леди Гиблет! Лично я стараюсь без уважительной причины не пропускать ни одного. Вульгарность, невежество и глупость хозяйки, невероятное убожество ее шелудивых интеллектуальных львов сами по себе уникальны. А ведь есть еще скороспелые любители искусства, аппетитные представители богемы, считающие свое умение оценить полотна кубистов и музыку Стравинского достаточным оправданием, чтобы без зазрения совести спать с женами друг друга. Нигде вы не встретите более блестящих представителей этой породы, чем в салоне леди Гиблет. А какие разговоры можно услышать среди отделанных мрамором залов! Нигде больше претензии не разделены с реальностью столь широкой пропастью. Нигде больше вы не услышите, как невежды, лишенные дара мыслить логично и самостоятельно, пускаются в многословные рассуждения о предметах, в которых они не понимают ровным счетом ничего. А потом вам непременно следует послушать, как они, высказав очередную тупую и бессвязную мысль, мимоходом похваляются ясностью своих умов, современностью подходов и не признающим авторитетов научным методом анализа. Гарантирую, нет другого места, где собирались бы более отборные представители подобного сорта людишек, чем в салоне леди Гиблет. По крайней мере мне такое место неизвестно. А вот у миссис Олдуинкл, по слухам, можно было нередко услышать вполне серьезные беседы, но, к сожалению, в ее салон я не был вхож почти по собственной воле. Так уж получилось.

И вот то утро в синеве Тирренского моря стало последним в моей жизни перед знакомством с миссис Олдуинкл. Вероятно, так было положено начало новому периоду моего существования. Казалось, судьба тем утром никак не могла решиться, как ей поступить со мной: окончательно уничтожить или просто

свести с миссис Олдуинкл? Как мне хотелось бы думать, к счастью, чаша весов склонилась ко второму варианту. Но я снова опережаю события.

Я обратил на нее внимание, еще не представляя, кто она такая. С того места, где я лежал на своем матрасе из синей морской воды, я заметил большую лодку, медленно надвигавшуюся на меня со стороны берега. На сиденье гребца возвышался рослый молодой человек, вяло водивший веслами. Спиной к скамье, вытянув волосатые ноги к носовой части одного из понтонов, расположился плотного сложения пожилой мужчина с красным лицом и короткими седыми волосами. Переднюю часть второго понтона занимали две женщины. Та, что была старше и крупнее, сидела на носу, свесив ноги в воду, на ней был купальник с юбкой из шелка огненного цвета, а волосы она собрала под розовым платком-банданой. У нее за спиной притулилось, поджав коленки к подбородку, очень юное и стройное создание в черном трико. В руке она держала зеленый зонтик, защищая от солнца свою старшую спутницу. В округлом столбе зеленоватой тени розово-огненная леди, которая, как я узнал позже, и была миссис Олдуинкл, выглядела, как китайский фонарик, горевший в оранжерее. Но стоило девушке сделать случайной движение, позволив солнцу на мгновение осветить лицо пожилой дамы, как сторонний наблюдатель мог бы поверить, что чудо воскрешения Лазаря только что произошло у него на глазах: зеленый мертвящий свет внезапно исчез с лица, а краски жизни, насыщенные отражением яркого купального костюма, заиграли на нем. Труп оказался живым. Но всего лишь на миг, поскольку старательная опека девушки моментально разделалась с чудом. Тень вернулась на свое место, тусклый свет оранжереи приглушил свечение фонарика, а ожившее лицо снова сделалось отталкивающим, словно принадлежало покойнице, дня три пролежавшей в могиле.

На корме, ставшая различимой, когда тяжеловесная лодка проплывала мимо меня, сидела еще одна молодая женщина с бледным лицом и с большими темными глазами. Завиток ее почти совершенно черных волос выбился из-под купальной шапочки и курчавой непослушной прядью упал на шею. Привлекательный молодой человек с загорелым лицом и мускулистыми руками вытянул ноги вдоль второго понтона в задней части суденышка и курил сигарету.

Голоса, чуть слышно доносившиеся до меня с приближавшейся лодки, показались мне сначала более знакомыми, чем те, что раздавались с других суденышек. Но я сразу понял причину – они говорили по-английски.

– Облака, – произнес пожилой краснолицый джентльмен, – приводящие вас в такой восторг, появляются благодаря мельчайшей выделяемой землей пыли, висящей в воздухе. Тысячи ее частиц содержатся в каждом кубическом сантиметре. Водяные пары конденсируются вокруг них в капли, достаточно крупные, чтобы стать видимыми. Вот так и возникают эти бесподобные небесные красоты, в основе которых обычная пыль. Потрясающий символ человеческого идеализма!

Не лишенный мелодичности голос звучал громче, по мере того как юноша опускал и поднимал весла.

– Вполне земные частицы, приобретающие небесное воплощение. Таким образом, ничто небесное не является абсолютным, существующим само по себе. Всего лишь пыль рисует огромные фигуры по небесному своду.

О Боже, не для того же я приехал в Марина-ди-Вецца, чтобы выслушивать нечто подобное?

Голосом громким, но каким-то зажеванным, странно монотонным леди в образе китайского фонарика затянула цитату из Шелли, исказив ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Злачное место (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

2

В римской мифологии: царица, основательница Карфагена.

3

Сердце, любовь и боль (ит.).

4

Концепция социализма в начале 20-х годов XX века в Англии.

5

Без всего (фр.).

6

Несмотря ни на что (фр.).

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/oldos-haksli/eti-opavshie-list-ya>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)